



Натаниель Готорн **Алая буква**

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7269365
Алая буква: ФТМ; Москва; 2016*

Аннотация

Взаимосвязь прошлого и настоящего, взаимопроникновение реальности и фантастики, романтический пафос и подробное бытописание, сатирический гротеск образуют идейно-художественное своеобразие романа Натаниеля Готорна «Алая буква».

Содержание

Таможня	4
Глава I	27
Глава II	29
Глава III	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Натаниэль Готорн

Алая буква

Таможня

Вступительный очерк к роману «Алая буква»

Хотя я и не склонен распространяться о себе и своих делах, сидя у домашнего очага или в кругу друзей, все же, как ни странно, мною дважды овладевал биографический зуд, понуждая обратиться непосредственно к публике. Впервые это случилось года четыре назад, когда без всяких разумных причин, которые мог бы привести в качестве оправдания снисходительный читатель или навязчивый автор, я облагодетельствовал общество описанием своей жизни в нерушимой тишине Старой Усадьбы.¹ И так как мне тогда посчастливилось найти за пределами моего уединенного жилища нескольких слушателей, я теперь снова хватаю публику за пуговицу и делюсь с ней воспоминаниями о моей трехлетней работе в таможне. Никто еще так добросовестно не следовал примеру знаменитого «П. П., приходского писца».² Дело, по-видимому, в том, что когда автор отдает на произвол стихий исписанные им листки, он обращается не к тем многочисленным читателям, которые сразу же отложат книгу в сторону или вовсе не возьмут в руки, а к тем немногим, которые поймут ее лучше, чем большинство спутников его юности и зрелых лет. Конечно, некоторые писатели идут куда дальше и позволяют себе пускаться в такие откровенные признания, какие человеку дозволено делать в присутствии лишь одного-единственного, родственного ему по духу и сердцу, существа. Как будто брошенная в шумный мир книга непременно отыщет отделившуюся от автора половинку и соединит его с нею, тем самым восполнив круг его существования! Однако вряд ли пристойно говорить все – даже когда говоришь от третьего лица. И так как мысль съезживается, а язык примерзает к гортани, если у говорящего нет настоящей связи со слушателями, ему простительно воображать, что он беседует с другом, чутким и внимательным, хотя и не слишком близким. От такого приятного сознания наша природная сдержанность оттаивает, мы принимаемся болтать об окружающем и даже о нас самих, по-прежнему, однако, не приподнимая покрова над нашим сокровенным «я». Мне думается, что только в такой степени и в таких пределах писатель может быть автобиографичным, не нарушая при этом ни интересов читателя, ни своих собственных.

Кроме того, очерк «Таможня» еще и потому имеет известное право на существование – право, всегда признаваемое литературой, – что в нем я рассказываю, как попали в мои руки многие страницы этой книги, а также привожу доказательства истинности изложенной в ней истории. Таким образом, единственной настоящей причиной моего прямого обращения к публике является желание показать, что я всего лишь редактор, или чуть больше, этой самой многословной из всех напечатанных мною повестей. Я позволил себе, не отклоняясь

¹ ...*Старой Усадьбы*... – Речь идет о сборнике новелл Готорна «Легенды Старой Усадьбы» (1849), в котором автор рассказывает о своей жизни в Конкорде.

² «П. П., приходского писца» – Поль Прай – комический персонаж из комедии «Поль Прай» английского писателя Джона Пула (1786–1872), написанной в 1825 году и часто приписывавшейся Дугласу Джероллу (1803–1857). Этот образ беззастенчиво любопытного сплетника, насильно навязывающего посторонним людям свое общество, получил огромную популярность в XIX веке. Целый ряд писателей избрал имя Поль Прай своим псевдонимом, под этим именем выходили журналы, – оно стало нарицательным, и от него в разговорном языке есть даже производный глагол. Готорн говорит здесь о себе как о навязчивом Поле Прае, рассказ которого, быть может, и не интересен читателю.

от основной цели, дать несколькими дополнительными штрихами беглый набросок людей, чей образ жизни до сих пор нигде не был описан. В числе этих людей находился и сам автор.

В моем родном городе Салеме,³ вблизи сооружения, которое еще полвека назад, во времена Кинга Дарби, было шумной пристанью, а теперь превратилось в скопище полуразрушенных деревянных складов и почти не обнаруживает признаков торговой жизни, если не считать брига или барка, выгружающего кожи где-нибудь посреди его меланхолических просторов, или шхуны из Новой Шотландии,⁴ сбрасывающей у выезда в город груз дров, – повторяю, вблизи этой частенько затопляемой приливом обветшалой пристани, где кайма чахлой травы вокруг вытянутых в ряд строений свидетельствует о вялой, поступи десятилетий, стоит поместительное кирпичное здание, выходящее окнами фасада на это не слишком веселое место и на другой берег бухты. На его крыше ежедневно, ровно с половины девятого утра и до полудня, развевается при ветре и вяло свешивается во время затишья флаг республики. Тринадцать полос на нем расположены не горизонтально, а вертикально, указывая тем самым, что правительство дяди Сэма⁵ представлено здесь только гражданскими властями. Балкон над лестницей с широкими гранитными ступенями покоится на деревянных колоннах портика. Вход увенчан огромным экземпляром американского орла⁶ с распростертыми крыльями, щитом перед грудью и, если память мне не изменяет, пучком молний вперемежку с тринадцатью зазубренными стрелами в каждой лапе. С обычной неуравновешенностью характера, свойственной этой злосчастной птице, она своими гневными глазами, клювом и свирепостью осанки словно грозит гибелью безобидному населению городка, особенно предостерегая жителей, которым сколько-нибудь дорого их благополучие, от вторжения в пределы, осененные ее крыльями. Тем не менее немало граждан и сейчас пытаются укрыться под крылом федерального орла, видимо полагая, что, несмотря на его сварливый вид, грудь у него мягка и уютна, как пуховая подушка. Но даже в лучшие минуты он не слишком добродушен и рано или поздно – скорее рано, чем поздно, – отгоняет своих птенцов, предварительно исцарапав их, клюнув или ранив зазубренной стрелой.

Обильная трава в расселинах мостовой вокруг описанного нами здания – с этой минуты мы будем называть его портовой таможней – говорит о том, что за последнее время оно не подвергалось буйному натиску, деловой жизни. Однако в иные месяцы выпадают такие утра, когда дела движутся оживленнее. В этих случаях старожилы могли бы вспомнить о годах перед последней войной с Англией,⁷ когда Салем был настоящим портом, а не таким, как сейчас, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, которые не препятствуют его пристаням ветшать и осыпаться, между тем как товары этих купцов бесполезно и незаметно вливаются в мощный поток нью-йоркской и бостонской торговли. В такие утра, когда несколько судов, большей частью африканских или южноамериканских, одновременно прибывают или готовятся к отплытию, на гранитных ступенях звучат торопливые шаги многих поднимающихся и спускающихся людей. Здесь можно встретить, прежде чем его встретит собственная жена, только что вернувшегося в порт загорелого шкипера, который несет под мышкой облупленную консервную жестянку с судовыми документами.

³ Салем – родина Готорна; небольшой город в штате Массачусетс, некогда имевший значение как торговый порт. Прославился в истории знаменитым «ведовским» процессом 1691–1692 годов, когда, в результате религиозного фанатизма и суеверия пуритан, девятнадцать женщин были казнены за «колдовство и связь с дьяволом».

⁴ Новая Шотландия – провинция в Канаде на полуострове того же названия. Административный центр – Галифакс.

⁵ Дядя Сэм – возникшее в период войны с Англией (1812–1814) шутовское обозначение американского государства. Произшло от служебного сокращения «U. S. Am» (вместо «United States of America»), прочтенного как «Uncle Sam».

⁶ ...экземпляр американского орла... – Герб США изображает орла с распростертыми крыльями, сжимающего в когтях: в одной лапе ветку лавра, в другой – связку из тринадцати стрел. Над головой орла в венке из облаков реют тринадцать звезд, а в клюве орел держит ленту с латинской надписью; «E pluribus unum» (из множества единое). Вся эта символика говорит о факте объединения первых тринадцати штатов, отложившихся от Англии.

⁷ ...перед последней войной с Англией... – Подразумевается англо-американская война 1812–1814 годов.

Сюда же приходит судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или насупленный, в зависимости от того, какие товары доставлены по его указанию из только что закончившегося плавания, – такие, которые быстро превратятся в золото, или же, напротив, такие, что лягут на плечи хозяина громоздким, никому не нужным грузом. Здесь мы также видим зародыш морщинистого, седобородого, измученного заботой купца в лице молодого расторопного клерка, который входит во вкус торговли, как волчонок – во вкус крови, и уже отправляет собственные товары на хозяйском корабле, хотя ему больше пристало бы пускать кораблики у мельничной запруды. Видим мы на пристани и уходящего в дальнее плавание матроса, которому нужно свидетельство о гражданстве, и другого матроса, только что высадившегося, худого и бледного, ожидающего направления в госпиталь. Не следует забывать и капитанов обветшалых шхун, привозящих дрова из британских владений, – грубоватых моряков, не обладающих внешней живостью янки, но вносящих немаловажную лепту в нашу хиреющую торговлю.

Если собрать всех этих людей, как они порой собирались на самом деле, и присоединить к ним для разнообразия несколько случайных посетителей, таможня на время станет весьма оживленным местом. Однако, поднявшись по ступенькам, вы значительно чаще увидите на площадке перед входом, если дело происходит летом, или в соответственных помещениях, если холодно и дождливо, почтенных джентльменов, развалившихся в старомодных креслах, откинутых на задних ножках спинками к стене. Обычно эти джентльмены спят, но иногда вступают в разговор между собой. Их голоса, сильно напоминающие храп, отличаются тем отсутствием энергии, которое свойственно обитателям богаделен и прочим человеческим существам, полностью зависящим от благотворителей, от пожизненной обязанности, словом, от чего угодно, только не от их личных усилий. Описанные старцы, сидящие, подобно Матфею,⁸ у входа в таможню, но едва ли могущие рассчитывать на то, что их призовут к совершению апостольских деяний, и являются таможенными чиновниками.

Дальше, по левую руку от входной двери, расположена контора – комната размером пятнадцать на пятнадцать футов, с очень высоким потолком и тремя полукруглыми окнами; два из них выходят на упомянутую запустелую пристань, третье – на узкий переулок и прилегающую к нему часть Дарби-стрит. Из всех трех видны лавки бакалейщиков, такелажных мастеров, старьевщиков и мелких торговцев, у чьих дверей толпятся, смеясь и болтая, отставные моряки и разные сомнительные личности, неизбежные в любом портовом квартале. Грязные крашенные стены комнаты затянуты паутиной, а пол посыпан серым песком, чего в других местах уже давным-давно никто не делает; общая неопрятность этого святилища говорит о том, что туда почти нет доступа женскому полу с его магическими орудиями – веником и шваброй. Вся обстановка состоит из печи с огромным вытяжным колпаком, старой сосновой конторки, треногого табурета возле нее, нескольких необычайно ветхих, неустойчивых стульев с деревянными сиденьями и – весьма важная подробность – из библиотеки, то есть книжных полок, на которых стоят десятка четыре томов постановлений Конгресса и объемистых справочников о таможенных сборах. Сквозь потолок пропущена жестяная труба, через которую можно переговариваться с другими помещениями таможни. И вот, с полгода назад, в этой комнате ходил из угла в угол или сидел на высоком табурете, опершись локтем о стол и рассеянно просматривая утреннюю газету, тот самый человек, который когда-то приветствовал вас, дорогой читатель, на пороге своей уютной рабочей комнатки в Старой Усадьбе, куда так весело заглядывали сквозь ветви ив лучи клонящегося к западу солнца. Но если бы вы захотели повидать его в таможне сейчас, то напрасно спрашивались бы о надзирателе – ставленнике демократов; метла преобразования вышвырнула его

⁸ *Матфей* – апостол и евангелист. Согласно легенде, был сборщиком пошлин на Тивериадском озере, до тех пор пока Иисус не призвал его к апостольскому служению.

оттуда, и теперь новый, более достойный человек занимает его место и получает его жалование.

Хотя как в юности, так и в зрелые годы, мне случалось надолго уезжать из старого Салема, моего родного юрода, все же я сохраняю – или сохранял – к нему привязанность, силу которой мог по-настоящему осознать лишь когда не жил в нем. Что и говорить, плоская, унылая местность, застроенная преимущественно деревянными домами, в общем даже и не претендующими на архитектурные красоты, неправильная планировка, в которой нет ничего живописного или оригинального, лениво растянувшаяся по всему полуострову длинная и сонная улица, одним концом упирающаяся в городскую тюрьму и холм с виселицей, а другим в богадельню, – словом, весь внешний вид города, где я родился, может внушить не больше нежных чувств, чем доска с беспорядочно разбросанными шашками. И все же, хотя в других городах я неизменно был счастливее, к старому Салему у меня сохранилось чувство, которое, за неимением более точного слова, я принужден назвать привязанностью. Возможно, оно объясняется тем, что моя семья издавна пустила в эту почву глубокие корни. Почти два с четвертью столетия протекли с тех пор, как некий британец – первый из эмигрантов, чье имя я ношу,⁹ – появился в окруженном лесами глухом поселке, ставшем впоследствии городом. Там жили и умирали его потомки, смешивая свой земной прах с почвой, так что немалая ее доля стала сродни той брэнной оболочке, в которой мне дано еще некоторое время ходить по салемамским улицам. Таким образом, пристрастие, испытываемое мною, отчасти является бессознательной симпатией праха к праху. Немногие из моих земляков могут понять это, и оно, пожалуй, к лучшему, ибо частая перемена места, по-видимому, лишь совершенствует породу. Но есть для моей привязанности и некое моральное основание. Облик первого предка, которого семейные предания окружили неясным и сумрачным величием, жил в моем детском воображении с тех пор, как я себя помню. Он до сих пор преследует меня, и я испытываю к прошлому этого города некое влечение, которое отнюдь не распространяется на его настоящее. Мне чудится, что своим правом проживать в Салеме я обязан не столько самому себе, чье лицо почти никто не помнит, а имени не знает, сколько этому непреклонному, бородатому, одетому в черный плащ и островерхую шляпу прародителю, который так давно появился здесь с библией в одной руке и шпагой в другой, так торжественно выступал по только что проложенной улице и был такой заметной фигурой в дни мира и войны. Он правил церковными делами и сочетал в себе воина, законодателя, судью. Все, достоинства пуритан¹⁰ переплетались в нем со всеми их недостатками. Подобно им

⁹ ...некий британец – первый из эмигрантов, чье имя я ношу... – предок автора Вильям Готорн (1607–1681), колониальный чиновник в Массачусетсе. Приехал в Америку в 1630 году вместе с упоминаемым в романе первым губернатором Массачусетса Джоном Уинтропом. С 1636 года и до самой смерти жил в Салеме, где занимал выдающееся положение в городской администрации, выполнял дипломатические и военные поручения. Был известен своей религиозной нетерпимостью, которую воспринял и сын его Джон Готорн, судья в Салеме, участник пресловутых «ведовских» процессов. Проклятие, посланное Джону Готорну одной из жертв такого изуверского суда, было воспринято суеверными горожанами как источник многих бедствий, постигших семью Готорнов. Мотив подобного проклятия использован Натаниелем Готорном в романе «Дом о семи фронтонах».

¹⁰ Пуритане – сторонники религиозной реформации в Англии. Составляли основную опору английской революции XVII века. Подвергшись преследованиям у себя на родине, многие пуритане эмигрировали в Америку. Их поселения в Плимуте, Массачусетсе и других местах на северо-востоке страны положили основание Новой Англии. Здесь пуритане создали особое общественное устройство, «теократию» («власть Бога»), при котором духовенства руководило всей жизнью общины. Система взглядов пуритан определялась Библией и характеризовалась вечным страхом перед карающим Богом. Человек рассматривался как существо греховное от рождения. Его судьба была заранее предопределена – он подлежал вечному наказанию в аду. Однако американские пуритане полагали, что верующий может вступить с Богом в своеобразное соглашение (так называемый «ковенант благодати»), по которому Бог обязывался спасти человека от адских мук в обмен за искреннюю и пламенную веру. Чтобы доказать Богу подлинность своей веры, пуритане вели аскетический образ жизни, подчинялись всем указаниям своего духовенства, а также активно искореняли ереси и «врагов Христовых» внутри городских поселений. Отсюда шли избиения квакеров, «ведовские процессы» и тяжелые кары за нарушение моральных норм поведения. Об одном из таких событий и рассказывает Готорн в романе «Алая буква».

всем, он был фанатиком, и квакеры¹¹ в своих воспоминаниях свидетельствуют о его непомерной суровости к одной женщине из их секты, – суровости, которую, боюсь, будут помнить дольше, чем любое из его многочисленных благих деяний. Сын унаследовал от отца дух фанатизма и сыграл столь заметную роль в преследовании ведьм, что кровь их, можно сказать, оставила на нем несмываемое пятно, которое, должно быть, до сих пор можно разглядеть на его старых сухих костях, скрытых в земле Чартер-стритского кладбища, если только они не рассыпались окончательно в прах. Мне неизвестно, успели ли мои предки раскаяться в своей жестокости и выпросить себе прощение у неба или же они до сих пор стонут в ином мире под тяжестью ее последствий. Так или иначе, я, пишущий эти строки, беру, в качестве их представителя, весь позор на себя и молю, чтобы отныне и вовеки на них не тяготело проклятие, хотя они его вполне заслужили, судя по тому, что нам известно о трудных и мрачных условиях существования тех давно минувших времен.

Однако эти строгие и угрюмые пуритане, несомненно, сочли бы вполне достаточным искуплением своих грехов то обстоятельство, что почтенный замшелый ствол их фамильного древа дал через столько лет на своей верхушке отросток в виде такого бездельника, как я. Цели, к которым я когда-либо стремился, показались бы им недостойными, а успехи – если в моей жизни, вне пределов домашнего круга, были какие-нибудь успехи – они сочли бы жалкими или даже постыдными. «Что он делает? – шепчет один седой призрак моего праотца другому. – Пишет романы! Что за занятие, что за способ прославлять творца или служить человечеству при жизни, и после кончины! Просто непостижимо! С не меньшим основанием этот выродец мог бы сделаться уличным музыкантом!» Такими комплиментами награждают меня через пропасть столетий мои предки! Но как бы они на меня ни гневались, свойства их сильных натур проглядывают и в моем характере.

Тесно связанная с младенчеством и детством города этими ревностными и деятельными людьми, семья с тех пор жила здесь, сохраняя глубокую добропорядочность. Насколько мне известно, никогда ни один из ее членов не бросил на нее тени и вместе с тем не совершил – если не считать двух родоначальников – памятного или хотя бы приметного для его сограждан поступка. Напротив того, они постепенно начали исчезать из виду, как те старые дома на салемих улицах, которые до самых стрех уходят в землю, заносимые новыми слоями почвы. Почти сто лет все они, из поколения в поколение, были связаны с морем: седоголовый шкипер, отец семейства, возвращался из капитанской каюты к домашнему очагу, а его четырнадцатилетний сын занимал наследственное место на баке, грудью встречая соленую волну и шторм, которые неистовствовали так же, как во времена его деда и прадеда. Потом юноша, в свой черед, переходил с бака в капитанскую каюту и, бурно проводя свои лучшие годы в странствиях по свету, возвращался домой – стареть, умирать и смешивать свой прах с родной почвой. Эта длительная связь семьи с местом, где рождались и кончали свой век все ее члены, создала между человеческими существами и городом какое-то сродство, не зависящее от привлекательности природы или жизненных условий. Тут дело не в любви, а в инстинкте. Если человек прибыл из других мест и даже если его отец

¹¹ *Квакеры* – протестантская секта в Англии, созданная в середине XVII века Джорджем Фоксом. Фокс – проповедник из ремесленников – считал, что «истина дана не в книгах, а в сердцах людей». Его посещали «видения», которые он ставил выше Священного Писания. Когда на него «находил дух божий», он в судорогах падал на землю (отсюда название «quaker» – «дрыгун», данное в насмешку его противниками). Объединившись в «Общество друзей», квакеры выросли в большую силу. Они отвергали религиозные догматы и обряды, считали, что главное – это благочестивая жизнь. Бог дает человеку внутреннее откровение, которое выше всей учености богословов и даже самой Библии. Религия есть частное дело индивидуума, и государство не должно вмешиваться в вопросы веры. Это был последовательно проведенный принцип индивидуализма в вопросах религии, который вызывал резкое сопротивление в теократических американских общинах. Квакеры во главе с Вильямом Пенном в 1681 году основали в Америке свое собственное поселение Пенсильванию. В других же американских поселениях они подвергались ожесточенным преследованиям. Готорн посвятил этой теме свою новеллу «Кроткий мальчик», в которой речь идет о гибели семьи квакеров, ставшей жертвой религиозного фанатизма.

или дед родились не в Салеме, он не может называться салемцем, ибо не имеет и представления об упрямой, поистине устричной привязанности старого поселенца, над которым ползет уже третье столетие, к месту, где, поколение за поколением, похоронены все его предки. Неважно, что город его не радует, что он устал от старых деревянных домов, грязи и пыли, от плоского пейзажа и плоских чувств, от леденящего восточного ветра и еще более леденящей атмосферы общественной жизни: все это, вместе с любыми недостатками, которые он видит или может себе представить, не имеет значения. Чары не исчезают и действуют так же сильно, как если бы родные места были земным раем. Так случилось и со мной. Словно какой-то высший долг повелевал мне обосноваться в Салеме, чтобы в течение положенного срока люди могли видеть и узнавать черты лица и характера, искони знакомые здесь всем, ибо стоило одному представителю лечь в могилу, как следующий, подобно дозорному, уже шагнул по главной улице. Но само это ощущение свидетельствует о том, что пора, наконец, порвать ставшую вредной связь. Не только картофель, но и человек мельчает, если в продолжение многих поколений сажать и пересаживать его в одну и ту же истощенную почву. Мои дети родились в других городах и, насколько это будет зависеть от меня, пустят корни в непривычной почве.

Лишь в силу этой непонятной, холодной и безрадостной привязанности я, распростившись со Старой Усадьбой, решил устроиться в кирпичном здании дяди Сэма, хотя с таким же или с большим успехом мог переехать куда угодно. Но рок тяготел надо мной. Я уезжал из Салема не раз и не два, уезжал, казалось, навеки, и все-таки возвращался, точно я был фальшивой монетой или Салем – могучим притягательным центром моей вселенной. И вот в одно прекрасное утро я поднялся по гранитным ступеням, имея в кармане назначение, подписанное президентом, и был представлен штату джентльменов, которые должны были помочь мне нести тяжкую ответственность, возложенную на меня обязанностями главного надзирателя таможни.

Полагаю – вернее, убежден, – что ни у одного чиновника гражданского или военного ведомства Соединенных Штатов Америки не было в подчинении такого множества почтенных ветеранов, как у меня. Взглянув на них, я тотчас понял, где именно следует искать нашего старейшего гражданина. За последние двадцать лет независимость положения главного сборщика пошлин салемской таможни была такова, что ему удавалось уберечь свое учреждение от водоворота случайностей политической жизни, делающих судьбу всякого должностного лица столь шаткой. Воин – самый прославленный воин Новой Англии,¹² – он твердо стоял на пьедестале своих боевых заслуг и, охраняемый мудрой снисходительностью сменявших друг друга правительств, при которых ему пришлось служить, был щитом для подчиненных в часы нередких опасностей и тревог. Генерал Миллер был консервативен от природы. Привычка составляла основу его доброжелательной натуры. Он очень привязывался к людям, которых часто видел, и с трудом соглашался на перемены, даже когда они сулили несомненную пользу. Поэтому-то, вступив в должность, я увидел вокруг себя почти одних стариков. Большинство из них некогда были капитанами дальнего плавания и, избородив множество морей, стойко выдержав житейские бури, причалили, наконец, к этой тихой гавани, где, не ведая никаких волнений, если не считать периодической паники перед президентскими выборами, получили как бы добавочный срок жизни. Не менее прочих смертных подверженные влиянию старости и болезней, они явно владели каким-то талисманом, державшим смерть на почтительном расстоянии. Несколько человек, страдавших, как меня заверили, подагрой, или ревматизмом, или просто старческой немощью, большую

¹² Новая Англия – основной центр капиталистического развития США в описываемую эпоху. В настоящее время Новая Англия объединяет шесть северо-восточных штатов: Мэн, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут.

часть года даже и не появлялись в таможене; с окончанием зимней спячки они вылезали на майское или июньское солнышко и, апатично исполнив то, что называли своими обязанностями, снова, никого не спросясь, отправлялись в постель. Должен сознаться, что я грешен в сокращении срока таможенного существования нескольких престарелых слуг республики. По моему ходатайству им был предоставлен отдых от неусыпных трудов, и вскоре они отошли в лучший мир, так как ревностное служение отчизне было, по-видимому, единственным смыслом их жизни. Я утешаюсь благочестивой мыслью, что вследствие моего вмешательства у них осталось достаточно времени, чтобы раскаяться в дурных и бессовестных делах, которых, по общему мнению, не может не совершать таможенный чиновник. Ни парадный, ни черный ход таможи не ведут в рай.

Большинство моих подчиненных были вигами.¹³ Их почтенному братству повезло в том отношении, что новый надзиратель хотя и был в принципе искренним сторонником демократов,¹⁴ однако вступил в свою должность и исполнял ее, не помышляя ни о каких политических целях. Если бы дело обстояло иначе, если бы на этот ответственный пост был назначен рьяный политик, который захотел бы вступить в борьбу с главным сборщиком – вигом, – это оказалось бы нетрудной задачей, так как недуги последнего не позволяли ему самолично управлять делами, – то вряд ли хоть одному из старичков удалось бы избежать служебной кончины через месяц после появления у входа в таможеню вышеупомянутого ангела смерти. Согласно общепринятому в таких случаях кодексу поведения, рьяный политик счел бы своим долгом подвести под нож гильотины все эти седые головы. Нет сомнения, старики ждали от меня именно такой неучливости. Больно и смешно было видеть, как при входе такого безобидного существа, как я, смертельно бледнеют морщинистые щеки, обветренные многими десятилетиями штормов, и слышать дрожь в голосе, который некогда так зычно орал в рупор, что мог бы утратить самого Борея. Эти превосходные старцы понимали, что по установленным правилам и по непригодности – во всяком случае некоторых из них – к делу им пора уступить место людям помоложе, лучше разбирающимся в политике и более приспособленным к служению нашему общему дядюшке. Я тоже это понимал, но у меня не хватало мужества действовать согласно пониманию. Поэтому, к вящему моему стыду и к великому ущербу для моей служебной совести, все время, пока я работал в таможене, они продолжали ковылять по пристани, с трудом одолевая таможенную лестницу. Немало времени тратили они и на сои в привычных углах, где стояли их откинутые к стене кресла и где, время от времени просыпаясь, они наводили друг на друга зевоту бесконечным повторением одних и тех же набивших оскомину морских историй и заплевывали острот, которые стали у них паролем и отзывом.

Почтенные джентльмены, кажется, вскоре обнаружили, что новый надзиратель не слишком опасен. Поэтому с легким сердцем и счастливым сознанием, что приносят пользу если не нашей возлюбленной стране, то по крайней мере самим себе, они продолжали исполнять все мелочные формальности таможенной службы. Как глубокомысленно заглядывали они сквозь очки в корабельные трюмы! Какой великий шум поднимали из-за пустяков и с какой поразительной слепотой прозевывали большие партии грузов! Если случалась

¹³ *Виги* – политическая партия, существовавшая в США в 1834–1854 годах. Представляла интересы банкиров и крупных промышленников Севера. Виги были политическими преемниками партии федералистов и предшественниками нынешней республиканской партии.

¹⁴ *Демократическая партия* – основана Томасом Джефферсоном в 1828 году для борьбы против реакционной политики растущего класса капиталистов. В период, о котором пишет Готорн, когда еще не разгорелась борьба за отмену рабства негров в Южных штатах, в демократическую партию входили также широкие массы мелких фермеров и наемных рабочих Севера и Запада, которые по традиции считали ее «партией масс». Только в 1850-е годы, когда демократическая партия разоблачила себя как политическое орудие реакционных рабовладельцев Юга, массы отхлынули от нее, и она распалась на отдельные фракции. В результате этого в 1860 году президентом был избран кандидат вновь образованной республиканской партии, противник рабства негров, Авраам Линкольн.

подобная неприятность, если, скажем, средь бела дня и под самыми их ничего не подозревающими носами на берег была контрабандой выгружена груда ценного товара, с какой бдительностью, с каким непревзойденным прозорством они потом замыкали на двойной замок, и завязывали, и опечатывали двери во всех закоулках провинившегося корабля! Казалось, они достойны были не выговора за упущение, а похвалы за мудрую осмотрительность, благодарного признания их усердия и расторопности в ту минуту, когда зло уже совершилось и не было возможности его исправить!

Если люди не совсем уж дурны, то, по глупому свойству своего характера, я отношусь к ним доброжелательно. Обычно меня интересуют лучшие стороны человека – если они у него есть, – и по ним я составляю свое суждение о нем. Так как большинство этих старых таможенных чиновников не были лишены достоинств и так как я, можно сказать, занимал положение их отца и покровителя, что весьма способствует развитию дружеских чувств, то вскоре все они начали мне нравиться. В летние утра, когда палящий зной, прямо-таки расплавлявший людей, лишь слегка отогревал моих полузамерзших старичков, приятно было слышать их болтовню на площадке у задней двери, где они, как всегда, сидели рядышком в креслах, откинутых к стене, и застывшие шутки былых поколений оттаивали и пузырились вместе со смехом на их губах. Веселье стариков внешне очень похоже на жизнерадостность детей. Тут нет места разуму или глубокому чувству юмора, это просто блики, скользящие по поверхности и озаряющие веселым солнечным светом равно и зеленую ветку и старый замшелый ствол. Но в одном случае это действительно солнечный свет, тогда как в другом – лишь слабая флюоресценция гнилой древесины.

Было бы, однако, глубокой несправедливостью, если бы читатель счел всех моих достопочтенных друзей выжившими из ума стариками. Прежде всего, не все они были стары. Среди моих подчиненных попадались люди в расцвете сил и молодости, способные, деятельные, достойные куда более интересной и независимой жизни, чем та, на которую их обрекла несчастливая звезда. Кроме того, и седая голова оказывалась иногда обителью хорошо сохранившегося разума. Но в видах справедливости следует признать, что большинство моих ветеранов были скучнейшими старыми сморчками, не вынесшими из опыта долгой жизни ничего стоящего внимания. Они словно выбросили все золотые зерна жизненной мудрости, которые так обильно могли бы собрать, и старательно засорили память шелухой. Об утреннем завтраке, о вчерашнем, сегодняшнем или завтрашнем обеде они рассказывали с куда большим интересом и увлечением, чем о кораблекрушении, случившемся полвека назад, или о каких-либо чудесах, виденных ими в юности.

Старейшиной таможни – патриархом не только среди немногочисленных салеминых чиновников, но и, осмелюсь утверждать, среди всей многоуважаемой корпорации таможенных служащих Соединенных Штатов Америки – был некий несменяемый инспектор. Его поистине можно назвать законным отпрыском прочной, чтобы не сказать порочной, системы пошлин, поскольку отец инспектора, полковник революционных войск, а прежде – начальник портовой таможни, специально создал должность для сына и определил его на службу так давно, что людей, помнящих те времена, уже почти не осталось. Когда я познакомился с инспектором, ему было лет восемьдесят. Даже если потратить всю жизнь на поиски, едва ли удалось бы найти более замечательный образец вечнозеленого растения. Глядя на цветущие инспекторские щеки, плотную фигуру в щеголеватой синей куртке с начищенными пуговицами, быструю молодцеватую походку, загорелое приветливое лицо, вы, конечно, не могли подумать, что он молод, но вам невольно казалось, что мать природы создала в образе этого человека новый вид, не подверженный старости и болезням. Его голос и смех, перекатывавшиеся по всей таможне, не имели ничего общего с дрожащим старческим кудахтаньем и бормотанием: они вылетали из его легких точно кукареканье петуха или звук трубы. Если рассматривать инспектора как животное, – а рассматривать

его иначе было трудно, – он производил великолепное впечатление здоровьем, цельностью, способностью наслаждаться в столь преклонном возрасте всеми или почти всеми радостями жизни, доступными его пониманию или знакомыми по опыту. Верный заработок и спокойное, обеспеченное существование в таможене, лишь изредка нарушаемое опасением лишиться места, безусловно способствовали тому, что время так милостиво обошлось с ним. Однако истинная и главная причина этого заключалась в редком совершенстве его животной натуры, не слишком обремененной разумом и лишь слегка сдобренной моральными и духовными ингредиентами. Последние качества были отпущены почтенному старцу в количестве только-только достаточном, чтобы он не ходил на четвереньках. Он не обладал ни силой мысли, ни глубиной восприятия, ни неудобной чувствительностью, короче говоря, был наделен лишь несколькими обычными инстинктами, которые, в сочетании с благодушным характером – следствием физического здоровья, – очень хорошо, по общему мнению, заменяли ему сердце. Он был мужем трех жен, давно уже умерших, отцом двадцати детей, которые в младенческом или зрелом возрасте почти все также отошли в иной мир. Казалось бы, столь многочисленные несчастья могли омрачить траурной дымкой самую жизнерадостную натуру. Но не таков был наш инспектор! Один короткий вздох – и он сбрасывал с плеч бремя этих воспоминаний. В следующий миг он уже радовался жизни, словно несмышленый младенец, радовался так, как не мог бы радоваться и самый младший из таможенных клерков, который в свои девятнадцать лет был и взрослее и серьезнее инспектора. Я наблюдал за этим патриархом и изучал его с большим, пожалуй, интересом, чем остальных представителей рода человеческого, собранных в таможене. Поистине, он был редкостным экземпляром – столь же совершенным с одной стороны, сколь расплывчатым, пошлым, бессодержательным и ничтожным – со всех остальных. Я пришел к выводу, что у него нет ни души, ни ума, ни сердца, – словом, как я уже говорил, ничего, кроме инстинктов. При этом немногочисленные материалы, из которых складывался его характер, были так искусно соединены между собой, что не создавали неприятного впечатления скудоумия, – напротив, меня во всяком случае инспектор вполне удовлетворял. Было нелегко, вернее невозможно, представить себе такого земного и чувственного человека в загробной жизни. Но если предположить, что существование инспектора должно было окончиться вместе с его последним вздохом, оно обладало известной прелестью: моральной ответственности столько же, сколько у животного, способностей наслаждаться больше и такое же блаженное неведение тоски и ужаса старости.

Но в чем он имел огромное преимущество перед своими четвероногими собратьями, так это в способности помнить все вкусные обеды, съеденные им в течение жизни и доставившие ему немало счастья. Гурманство было чрезвычайно приятной его чертой, и рассказы инспектора о ростбифе возбуждали аппетит не хуже, чем пикули или устрицы. Так как других столь же привлекательных качеств в нем не наблюдалось и, сосредоточив всю свою энергию и изобретательность на радостях желудка, он не зарыл в землю и не уничтожил никаких иных талантов, я всегда с удовольствием и признательностью слушал его разглагольствования по поводу рыбы, курятины, говядины и лучших способов их приготовления. Внимая воспоминаниям инспектора о вкусном обеде, которым его некогда угощали, слушатель вдыхал аромат свинины или индейки. Небо этого человека сохранило ощущения, испытанные лет семьдесят назад, такими же свежими, как вкус баранины, которую он только что съел за завтраком. Я видел, как он облизывал губы, припоминая пирушки, все участники которых, если не считать его самого, давно уже служили пищей червям. Было необычайно любопытно наблюдать, как перед его мысленным взором непрерывно возникали видения испробованных когда-то блюд – не гневные, не грозящие мексью, но словно благодарные за то, что он в былые годы их оценил, и призывающие отречься от нескончаемых наслаждений, одновременно и чувственных и призрачных. Он помнил нежное говяжье филе, теля-

чью ножку, свиную котлету, лакомого цыпленка или особенно аппетитную индейку, которые украшали его стол в незапамятные времена, между тем как все важные для человечества события и все происшествия, озарявшие или омрачавшие его собственную жизнь, пролетали над ним, оставляя не больше следов, чем легкий ветерок. Насколько я могу судить, самой большой трагедией старика была неудача с неким гусем, жившим и умершим лет тридцать – сорок назад, гусем, который необычайно много обещал с виду, но на столе оказался до того несокрушимым, что делить его останки на части пришлось не ножом, а топором и пилой.

Однако пора кончать этот портрет, хотя я с удовольствием продолжал бы его рисовать, потому что из всех встреченных мною в жизни людей никто так не подходил к роли таможенного служащего, как инспектор. По причинам, о которых сейчас нет возможности распространяться, служащие таможни благодаря особенностям своей работы обычно теряют многие из своих добродетелей. Инспектор был неспособен на это, и продолжай он работать там до скончания веков, в нем не произошло бы никаких перемен и он садился бы за очередную трапезу с тем же неизменным аппетитом.

Есть еще один человек, без описания которого в моей галерее портретов таможенных чиновников оказался бы непонятный пробел. Но так как у меня было сравнительно мало случаев для наблюдения, мне придется ограничиться самыми беглыми контурами. Я говорю о нашем главном сборщике, доблестном генерале, который после блестящей службы в армии и последующего управления одной из территорий Дикого Запада приехал лет за двадцать до описываемого времени в Салем доживать там свою безупречную и полную событий жизнь. Бравому солдату было уже около семидесяти лет, и остаток жизненного пути он преодолевал, обремененный недугами, которых не могла облегчить даже бодрящая музыка воинственных воспоминаний. Тот, кто некогда первым бросался в битву, теперь едва передвигал ноги. Тяжело опираясь одной рукой на плечо слуги, а другой – на железные перила, он с бесконечными усилиями поднимался по лестнице таможни и медленно добредал до привычного кресла у камина. Там он сидел, глядя с какой-то застывшей благожелательностью на проходивших мимо людей. Шорох бумаг, брань, деловые разговоры, болтовня – весь этот шум и суета, казалось, лишь скользили по поверхности его сознания, не проникая в глубину. Лицо генерала в минуту покоя выражало доброту и мягкость. Когда к нему обращались, в его глазах мелькал учтивый интерес, говоривший о том, что в душе нашего главного сборщика продолжает гореть свет разума и лишь некая внешняя преграда мешает лучам пробиться наружу. Чем ближе вы знакомились с внутренним миром старого воина, тем более разумным он вам казался. Если генералу не нужно было говорить или слушать, – а то и другое явно очень утомляло старика, – на его лице вскоре вновь появлялось выражение безмятежного покоя. Встретиться с его взглядом не было неприятно, так как, хотя глаза и потускнели, в них никто не подметил бы старческого слабоумия. Основа некогда сильной и устойчивой натуры все еще оставалась невредимой.

Но понять и определить его характер в этих неблагоприятных условиях было делом столь же трудным, как по виду серых, беспорядочных развалин вычертить и заново отстроить в воображении старую крепость, например Тикондерога.¹⁵ Возможно, кое-где ее валы не пострадали, зато в других местах они лежат бесформенной грудой, осевшей под собственной тяжестью и поросшей за долгие годы небрежения и мира травой и сорняками.

Хотя я мало общался со старым генералом, но, приглядываясь к нему с любовью, – ибо мои чувства, подобно чувствам всех окружавших его двуногих и четвероногих, вполне могут быть названы этим словом, – я все же рассмотрел основные черты его характера. Они были отмечены печатью доблести и благородства, свидетельствовавшей о том,

¹⁵ Тикондерога – старая крепость и небольшое селение, расположенное между двумя озерами Джордж и Чемплэйн. В период войны за независимость США эта крепость была ареной кровопролитных боев.

что своей известностью он обязан не случаю, а справедливости. Думаю, что он никогда не отличался кипучей энергией. Вероятно, всю жизнь он нуждался в каком-нибудь толчке извне, чтобы начать действовать, но уж раз начав, да еще если впереди лежали препятствия и достойная цель, он ни перед чем не отступал и не знал поражений. Душевный жар, отличавший его и все еще не остывший, не давал ярких вспышек, не рассыпался искрами; скорее это было ровное красное свечение раскаленного в печи железа. Значительность, твердость, стойкость – такое впечатление он производил, когда ничто его не тревожило, и это – невзирая на безвременное увядание, о котором я говорил. Но и тогда я допускал, что под влиянием какого-нибудь глубоко проникшего в душу волнения, поднятый зовом горна, достаточно громким, чтобы разбудить дремавшие, но не угасшие силы, он мог бы сбросить свою немощь, словно больничный халат, и, сменив посох старости на шпагу, снова стать воином. И в столь напряженный момент он по-прежнему остался бы невозмутимым. Однако подобная картина была лишь плодом воображения, а не предвидением или пожеланием. На самом же деле, подобно тому как я своими глазами видел остатки несокрушимых валов старой крепости Тикондерога, упомянутой выше в качестве наиболее точного уподобления, так и в генерале Миллере я отчетливо различал непреклонную и стойкую твердость, дошедшую, вероятно, в более молодые годы до упрямства; цельность, вытекавшую, как и большинство его достоинств, из некоторой душевной тяжеловесности и столь же неподатливую, как глыба железной руды; доброжелательность, которая, несмотря на неистовство, проявленное в штыковой атаке при реке Чиппева или у форта Эри,¹⁶ была не менее искренней, чем доброжелательность некоторых или всех вместе взятых сомнительных филантропов нашего времени. Мне известно, что он своими руками убивал людей. Да, они падали под натиском, воодушевленным его победоносной энергией, как травинки под взмахом косы, но при этом у него не хватило бы жестокости даже на то, чтобы сдуть пыльцу с крыла бабочки. Я не знаю человека, к чьей врожденной доброте я мог бы обратиться с большим доверием.

Многие характерные штрихи, в том числе и немаловажные для того, чтобы зарисовка вышла похожей, исчезли или поблекли задолго до моего знакомства с генералом. Обычно раньше всего мы утрачиваем черты внешней привлекательности, тем более что человеческие развалины природа никогда не украшает новыми прекрасными цветами, подобными выходящим растениям, которые покрывают стены разрушенной крепости Тикондерога и находят себе пропитание в расселинах и трещинах камней. Но в старом генерале сохранились даже следы былой красоты и изящества. Порою луч веселья пробивался сквозь мутную преграду дряхлости и ласково скользил по нашим лицам. Любовь к прекрасному, редко встречающаяся у мужчин, уже достигших зрелого возраста, сказывалась в пристрастии генерала к цветам, к их аромату. Казалось бы, старый воин может ценить только кровавые лавры на своем челе; между тем генерал Миллер проявлял совершенно девичью нежность ко всему цветочному племени.

Целыми днями доблестный старый генерал сидел у камина, а надзиратель любил стоять в отдалении и наблюдать за спокойным, даже сонным лицом старика, по возможности не ставя перед собой сложной задачи вовлечь его в беседу. Казалось, он не с нами, несмотря на то, что мы видели его в нескольких шагах от себя; далек, хотя мы проходили мимо кресла, где он сидел; недостижим, хотя мы могли протянуть руку и коснуться его. Вероятно, собственные мысли были для него большей реальностью, чем столь чуждая ему обстановка таможенной конторы. Движение войск на параде, шум битвы, старинный героический марш, слышанный тридцать лет назад, – все эти сцены и звуки, быть может, возникали в его сознании, в то время как мимо него взад и вперед сновали купцы, ловкие клерки и неотесан-

¹⁶ Чиппева, форт Эри – места боев в англо-американской войне 1812–1814 годов.

ные матросы. Вокруг генерала не смолкало жужжание суетливой торговой и таможенной жизни, но он, казалось, не имел ни малейшего отношения ни к этим людям, ни к их делам. Он был среди них так же неуместен, как была бы неуместна на столе главного сборщика, среди чернильниц, деревянных линейек и папок для бумаг, старая шпага, покрытая ржавчиной, но все еще поблескивающая клинком, который некогда сверкал в первых рядах сражающихся войск.

Один штрих особенно помог мне восстановить, воссоздать образ стойкого воина, охранявшего границу у Ниагары, человека, наделенного истинным и скромным мужеством. Речь идет о его памятных словах: «Я попытаюсь, сэр!» – сказанных перед отчаянной и героической вылазкой и проникнутых духом отважных сынов Новой Англии, которые понимали, что такое опасность, и смело шли ей навстречу. Если бы в нашей стране было принято награждать храбрость геральдическими отличиями, лучшим девизом для герба генерала послужила бы эта фраза, которую было как будто так легко сказать, но, – зная, что ему предстоит столь трудное и славное дело, – сумел сказать лишь он один.

Для душевного и умственного равновесия человека весьма полезно постоянное общение с людьми, совсем не похожими на него и не разделяющими его стремлений, с людьми, чьи интересы и способности он в состоянии оценить лишь отвлечшись от себя. Обстоятельства моей жизни часто давали мне эту возможность, но особенно полно и разнообразно я воспользовался ею во время работы в таможне. Там встретился мне человек, наблюдение за которым изменило мое представление о том, что такое талант. Он в исключительной степени обладал качествами, необходимыми деловому человеку, то есть живым, острым, ясным умом, умением разбираться в самых запутанных вопросах и способностью так все устраивать, что трудности исчезали, словно по мановению волшебной палочки. Таможня, где он работал с юношеских лет, была точно создана для него; все хитроумные тонкости дела, приводившие в отчаяние непосвященного, представляли перед ним как части хорошо слаженной и совершенно четкой системы. Мне он казался идеалом человека определенного типа. Он, так сказать, олицетворял собой таможню или во всяком случае был главной пружиной, не дававшей ее разнообразным колесикам остановиться, ибо в учреждении, куда людей большей частью набирают для их выгоды и удобства, а не для пользы дела, служащим поневоле приходится прибегать к чьей-то сообразительности, раз у них самих она отсутствует. Поэтому вполне закономерно, что, как магнит притягивает железные опилки, так и наш деловой человек притягивал к себе все затруднения, с которыми мы сталкивались.

С милой снисходительностью и добродушной терпимостью к нашей тупости, которая ему, с его складом ума, должна была казаться почти преступной, он тотчас, одним легчайшим прикосновением, превращал все самое непонятное в ясное как день. Купцы отдавали ему не меньшую дань уважения, чем мы, его собратья, посвященные в тайны ремесла. Он был безукоризненно честен, скорее по самой своей природе, чем по доброй воле или из принципа; человек, наделенный таким четким и упорядоченным умом, мог вести дела лишь самым аккуратным и добросовестным образом. Пятно на совести, – насколько его профессия имела отношение к совести, – тревожило бы его так же, только в значительно большей степени, как ошибка в балансе или клякса на чистой странице счетной книги. Короче говоря, я встретил – редкий случай в моей жизни – человека, полностью соответствовавшего своему положению.

Таковы были некоторые из людей, с которыми я оказался связанным. Я не роптал на провидение за то, что мне пришлось вести жизнь, столь далекую от прежних моих привычек, и честно старался извлечь из нее возможную пользу. После того как я строил несбыточные планы и трудился с мечтателями из Брук Фарм;¹⁷ после трех лет жизни, проведен-

¹⁷ Брук Фарм – «образовательная и сельскохозяйственная ассоциация», организованная в 1840 году Джорджем Рипли,

ных под тонким воздействием такого интеллекта, как Эмерсон;¹⁸ после дней беззаботной свободы, дней на Ассабете,¹⁹ когда, сидя у костра из валежника, мы вместе с Эллери Чаннингом²⁰ придумывали фантастические теории; после бесед с Торо²¹ в его уолденском уединении о соснах и индейских реликвиях; после того как восхищение Хиллардом²² и его утонченной классической культурой изошрило мой собственный вкус; после того как у очага Лонгфелло²³ я проникся поэзией, – после всего этого пришло, наконец, время проявить другие свойства моего характера и приняться за пищу, к которой раньше я почти не имел охоты. Даже старый инспектор был пригоден в качестве нового блюда для человека, общавшегося с Олькотом.²⁴ Мне казалось, что если я, знававший таких собеседников, мог теперь общаться с людьми, совершенно отличными от них, и притом нисколько не жаловаться на перемену, значит у меня в общем хорошо уравновешенная натура, обладающая всеми основными свойствами, присущими здоровому человеку.

Литература, ее цели и связанный с нею напряженный труд перестали меня занимать. Книгами в тот период я не интересовался: они меня не трогали. Природа, – за исключением человеческой природы, – та природа, к которой мы относим небо и землю, была мне в каком-то смысле недоступна. Я утратил способность к игре воображения, к одухотворенному наслаждению ею. Дар творчества, склонность к нему если не исчезли, то замерли и не проявляли признаков жизни. Это было бы печально, несказанно тяжело, не сознавая я, что в моей власти восстановить все, что было во мне когда-то действительно ценного. Я допускал, конечно, что нельзя безнаказанно жить такой жизнью слишком долго; она могла бы совершенно изменить меня, не превратив при этом в человека, которым стоило бы стать. Но я всегда считал свой новый образ жизни временным. Какой-то пророческий инстинкт нашептывал мне, что в недалеком будущем, как только перемена жизненных условий станет необходимой для моего блага, такая перемена произойдет.

А пока что я был таможенным надзирателем и, насколько я мог судить, не таким уж плохим. Человек, у которого работают мысль, чувство и воображение (пусть в десятикратном размере против того, что отпущено упомянутому таможенному надзирателю), может в любое время стать деловым человеком, если только он того пожелает. Мои товарищи

видным участником «Трансцендентального клуба». Должна была служить практическим опытом социального переустройства общества в соответствии с принципами утопического социализма Фурье, – «заменить систему эгоистической конкуренции системой братской кооперации». Насчитывала до 100 участников. Издавала собственный журнал «Харбинджер» («Предвестник»). В 1847 году распалась вследствие материальных затруднений.

¹⁸ Эмерсон, Ральф Уолдо (1803–1882) – видный американский писатель и философ, глава литературной организации «трансценденталистов». Автор книг «Опыты» (1841) и «Представители человечества» (1850). Боролся за освобождение негров и за предоставление избирательных прав женщинам. Его противоречивая идеалистическая философия содержала романтическую критику капитализма и призыв к индивидуальному самоусовершенствованию.

¹⁹ Ассабет – небольшая река в штате Массачусетс.

²⁰ Чаннинг, Вильям Эллери (1780–1842) – друг Готорна, один из лидеров «унитарианской» церкви США, которая призвана была реформировать традиционный кальвинизм пуритан. Проповедовал уничтожение социального неравенства и борьбу против захватнических несправедливых войн.

²¹ Торо, Генри Дэвид (1817–1862) – американский писатель, друг Эмерсона и Готорна. Пытался практически осуществить опыт жизни «вне цивилизованного общества», уединившись на лоне природы, на берегу пруда Уолден в Конкорде. Книга Торо «Уолден», описывающая его жизнь в этот период, полна острой социальной критики и представляет собой классическое произведение американской литературы.

²² Хиллард, Джордж Стилмен (1308–1879) – американский писатель и политический деятель. Издавал ряд журналов и был известен как превосходный лектор по вопросам литературы.

²³ Лонгфелло, Генри Уодсуорт (1807–1882) – американский поэт, автор известной «Песни о Гайавате» (1855), написанной на материале индейских народных песен. Учился вместе с Готорном в Боудойнском колледже и всю жизнь оставался его другом.

²⁴ Олькот, Амос (1799–1888) – американский прогрессивный педагог, требовавший гармонического воспитания ребенка, как физического, так и умственного. Был близок к кружку Эмерсона. Основал вегетарианскую сельскохозяйственную колонию «Фрут-ленд».

по службе, капитаны и купцы смотрели на меня именно как на делового человека и, возможно, даже не знали о другом моем занятии.

Полагаю, что никто из них не прочел ни одной сочиненной мною страницы, а если бы даже они прочли все подряд, то не стали бы ценить меня ни на грош дороже. Ничего не изменилось бы, если бы эти бесполезные страницы принадлежали перу Бернса²⁵ или Чосера,²⁶ которые, подобно мне, были в свое время таможенными чиновниками. Для человека, мечтающего о литературной славе и завоевании с помощью пера места среди знаменитостей мира сего, будет весьма полезным, хотя и жестоким уроком выйти из узкого круга, где он пользуется признанием, и убедиться, насколько за этими пределами лишено значения все, что он делает и к чему стремится. Думаю, что я не очень нуждался в таком уроке, ни в порядке предостережения, ни в порядке обуздания, но так или иначе я получил его сполна, и мне приятно вспомнить, что когда я постиг содержащуюся в нем истину, то не старался, вздыхая, забыть о ней и совсем не испытал боли. Что же касается литературных разговоров, то в таможене был один чиновник, милейший человек, поступивший одновременно со мной и уволенный чуть позже, который очень любил беседовать о Наполеоне и Шекспире. Младший клерк – юный джентльмен, порою исписывавший, если верить слухам, листки писчей бумаги со штампом дяди Сэма какими-то строчками, весьма смахивавшими с расстояния в несколько шагов на стихи, также нередко заговаривал со мной о книгах, считая, по-видимому, что я могу оказаться сведущим в этом вопросе. Других литературных связей у меня не было, и я в них не нуждался.

Не стремясь более к тому, чтобы титульные листы книг разносили по всему свету мое имя, я с улыбкой думал об известности иного рода, которую оно теперь приобрело. Таможенный маркировщик надписывал его черной краской по трафарету на ящиках с перцем, на корзинах с плодами орлянки, на сигарных ящиках и на тюках со всякими подлежащими обложению товарами, в знак того, что таможенный сбор за них уплачен и все формальности соблюдены. Расположившись в столь странной колеснице, славы, весть о моем существовании, – в той мере, в какой имя способно о чем-либо вещать, – отправлялась в места, где обо мне ничего не слыхали раньше и, надо надеяться, никогда не услышат впредь.

Но прошлое не умерло. Мысли, прежде казавшиеся столь значительными и деятельными, а теперь мирно почившие, все же изредка оживали. Одним из самых замечательных случаев, когда во мне проснулись привычки минувших дней, и был тот, который заставил меня, не нарушая законов литературного приличия, предложить публике этот очерк.

Во втором этаже здания таможи есть просторное помещение, стены которого, сложенные из кирпича, так и остались неоштукатуренными, а стропила – неподшитыми. В доме, построенном с широким размахом для нужд оживленного торгового порта, каким был когда-то Салем, и рассчитанном на дальнейшее его процветание, которому не суждено было осуществиться, оказалось больше площади, чем требуется тем, кто ныне работает в таможене. Поэтому помещение над конторой главного сборщика так и осталось неотделанным и словно продолжало ждать плотников и штукатуров, хотя с потемневших балок давно уже свесились гирлянды паутины. В стенной нише указанной комнаты один на другом стояли бочонки, набитые связками документов. Такие же связки во множестве усеивали пол. Больно было подумать о том, сколько дней, и недель, и месяцев, и лет труда истрачено на эти заплесневелые бумаги, которые теперь только напрасно занимают место и валяются в забы-

²⁵ Бернс, Роберт (1759–1796) – шотландский народный поэт. С 1791 года работал акцизным чиновником в городе Дамфрисе. Так же, как и Готорн, тяготился своей прозаической службой и однажды чуть не потерял место, купив на аукционе пушки с захваченного им контрабандистского судна и отправив их в дар французскому Конвенту.

²⁶ Чосер, Джеффри (1340–1400) – один из основоположников английской национальной литературы, создатель знаменитого сборника новелл «Кентерберийские рассказы». В период с 1374 по 1386 год Чосер служил в должности таможенного контролера при Лондонском порте.

том углу, где никто и никогда их не видит. Но ведь какие груды других рукописей, содержащих не скучные казенные формальности, а мысли изобретательных умов и горячие излияния глубоко чувствующих сердец, также погрузились в забвение, к тому же не сослужив своему времени даже такой службы, какую сослужили эти документы, и – что горше всего – не принесли тем, кто их писал, средств к безбедному существованию, которые добыли себе таможенные чиновники своими бесполезными бумажками! Впрочем, быть может, не совсем бесполезными, потому что они дают материал для истории города. Там можно найти и сведения о былой коммерции Салема и деловые письма его знаменитых купцов – старого Кинга Дарби, старого Билли Грея, старого Саймона Форрестера и многих других тогдашних магнатов, которые сумели накопить при жизни несметные богатства, начавшие таять, как только пудренные головы их владельцев скрылись в могилах. Там встречаются имена большинства родоначальников семейств, составляющих ныне салемскую знать, – безвестных захудалых торговцев, выплывших на поверхность, как правило, куда позже революции,²⁷ и лишь потом добывших то, что их дети считают издавна упроченным положением.

Документы, связанные с эпохой, предшествовавшей революции, скудны: возможно, чиновники, бежавшие вместе с королевской армией из Бостона²⁸ в Галифакс,²⁹ увезли с собой все таможенные архивы. Я часто жалел об этом, ибо документы времен, скажем, протектората³⁰ должны были содержать сведения о людях, как забытых, так и оставивших след, и о старинных обычаях; они доставили бы мне не меньше удовольствия, чем наконечники индейских стрел, валявшиеся в поле возле Старой Усадьбы.

Но в один свободный от работы дождливый день я сделал довольно любопытное открытие. Перебирая связки этих ненужных бумаг и роюсь в них; разворачивая один документ за другим; читая названия кораблей, давно утонувших в море или сгнивших на причалах, и имена купцов, забытые сейчас на бирже и еле видные на замшелых могильных плитах; глядя на все это с интересом, смешанным с печалью, усталостью и некоторой брезгливостью, как на труп некогда деятельного человека; пытаюсь по этим иссохшим костям восстановить в воображении, разленившемся от бездеятельности, образ города в те более радостные для него дни, когда Индия была малоизвестной страной и лишь салемцы знали туда дорогу, – я случайно взял в руки небольшой пакет, завернутый в кусок старого пожелтевшего пергамента. Обертка имела вид официального документа тех давних времен, когда клерки покрывали своим чопорным прямым почерком листы плотнее нынешних. Было в этом пакете что-то, вызвавшее во мне неосознанное любопытство; выцветшую красную тесьму на нем я разорвал с таким чувством, словно на свет божий должно было появиться сокровище. Развернув жесткую пергаментную оболочку, я обнаружил, что это – скрепленный печатью и подписью генерала Шерли документ о назначении некоего Джонатана Пью надзирателем таможни его величества в порте Салем округа Массачусетс.³¹ Я вспомнил, что читал сообщение – вероятно, в фелтовских анналах³² восьмидесятилетней давности – о кончине тамо-

²⁷ ...куда позже революции... – Подразумевается революционная война американских колоний за независимость в 1775–1783 годах, приведшая к отпадению колоний от Англии и к образованию Соединенных Штатов Америки.

²⁸ Бостон – главный город штата Массачусетс. Одно из старейших пуританских поселений Новой Англии. В настоящее время крупный морской порт и промышленный центр.

²⁹ Галифакс – город в Канаде. Разбитые во время войны за независимость английские войска эвакуировались из Бостона в Галифакс 17 марта 1776 года.

³⁰ ...Времен... протектората... – Эпоха, предшествующая войне за независимость США.

³¹ Массачусетс – штат на северо-востоке США, на территории которого находятся Бостон и Салем. Одна из первых американских колоний. В 1630 году корабль «Арабелла» привез сюда из Саутхемптона первых поселенцев, которые основали здесь пуританскую теократическую общину. Несколько раньше «отцы-пилигримы», прибыв на корабле «Майский цветок», основали пуританскую колонию в Новом Плимуте.

³² ...в фелтовских анналах... – Фелт, Джозеф Барлоу (1789–1869) – выдающийся краевед Новой Англии и страстный любитель старинных рукописей. Был президентом Историко-генеалогического общества Новой Англии и автором капи-

женного надзирателя, мистера Пью, а затем – уже в современной газете – заметку об извлечении его останков с маленького кладбища при церкви св. Петра во время реставрации последней. Если память мне не изменяет, от моего почтенного предшественника уцелели только подпорченный скелет, клочки одежды и величаво завитой парик, отменно сохранившийся, в отличие от головы, которую он некогда украшал. Рассматривая бумаги мистера Пью, для которых упомянутый документ послужил конвертом, я нашел, что в них заключалось куда больше следов умственной жизни и мыслительных процессов этого почтенного джентльмена, нежели черепных костей – в его завитом парике.

Короче говоря, это были бумаги не официальные, а частные или по крайней мере написанные таможенным надзирателем как частным лицом, и притом, по-видимому, собственноручно. Их присутствие в связках ненужных таможенных бумаг я могу объяснить лишь внезапной смертью мистера Пью и тем, что, хранимые, возможно, в рабочем столе, они не попали в руки наследников или же были сочтены служебными документами. При пересылке архивов в Галифакс пакет, как не относящийся к официальным документам, был оставлен в салемской таможне, и с тех пор к нему никто не прикасался.

Покойный надзиратель, не слишком, полагаю, утруждаемый в те давние дни делами таможни, посвящал часть своего немалого досуга собиранию материалов по истории города и прочим подобным занятиям. Это давало некоторую работу мозгу, который иначе покрылся бы плесенью. Между прочим, кое-какие из собранных им фактов помогли мне при подготовке включенного в этот том очерка,³³ озаглавленного «Главная улица». Остальные факты можно будет позднее использовать для столь же полезных произведений; не исключено даже, что они лягут в основу систематической истории Салема, если моя любовь к родному городу подвигнет меня на столь благочестивый труд. А покамест я готов предоставить все эти материалы любому джентльмену, склонному и способному избавить меня от этой маловыгодной работы. В дальнейшем я собираюсь передать их Эссекскому историческому обществу.

Больше всего в таинственном пакете привлек мое внимание лоскут тонкой красной материи, очень изношенной и выцветшей. На нем виднелись остатки золотой вышивки, сильно стертой, обтрепанной и почти совсем потерявшей блеск. Однако не вызывало сомнения, что сделана она была с необычайным мастерством: стежки (как меня заверили дамы, посвященные в такого рода тайны) говорили об искусстве, уже забытом, секрет которого нельзя было раскрыть, даже если выдергивать нитку за ниткой. При внимательном рассмотрении оказалось, что эта алая тряпка – ибо время, износ и кощунственная моль превратили материю в тряпку – имела форму буквы: заглавной буквы «А». Тщательное измерение показало, что длина каждой наклонной палочки составляла в точности три с четвертью дюйма. Эта буква, несомненно, служила украшением для платья, но как её следовало носить и какой ранг, отличие, звание она некогда обозначала, казалось мне почти неразрешимой загадкой, ибо моды на подобные украшения весьма недолговечны в этом мире. Тем не менее старая алая буква вызвала во мне странный интерес. Глаза мои невольно устремлялись на нее и не могли оторваться. Конечно, в ней таился какой-то глубокий смысл, настойчиво требовавший объяснения. Словно источаемый буквой, он неуловимо воздействовал на чувства, но не поддавался анализу ума.

тального труда «История церкви в Новой Англии» (1851–1862). «Салемские анналы», о которых упоминает Готорн, вышли первым изданием в 1827 году, а затем – расширенным изданием в двух томах – в 1845–1859 годах.

³³ ...включенного в этот том очерка... – В томе, куда вошел роман «Алая буква», Готорн первоначально собирался опубликовать также несколько новелл и скетчей. Этот замысел, однако, не был осуществлен. Роман вышел отдельным изданием. «Главная улица» была написана Готорном в 1849 году и опубликована в изданных его свояченицей Элизабет Пибоди «Эстетических записках». Позднее она вошла в сборник «Снегурочка и другие рассказы» (1851).

Находясь в таком недоумении и считая возможным, среди прочих гипотез, предположение, что буква могла относиться к числу тех ярких украшений, которые были придуманы белыми, чтобы привлекать глаза индейцев, я случайно приложил ее к груди. Мне показалось, – читатель может посмеяться надо мной, но не должен усомниться в правдивости моих слов, – будто что-то почти физически обожгло меня; можно было подумать, что буква сделана не из красной материи, а из докрасна раскаленного железа. Я вздрогнул и невольно уронил ее на пол.

Увлечшись разглядыванием алой буквы, я вначале не обратил внимания на грязный бумажный сверточек, вокруг которого она была обмотана. Развернув его, я с удовлетворением обнаружил написанную рукой старого надзирателя довольно полную историю лоскута. Немногочисленные листки писчей бумаги содержали подробности жизни и кары за прелюбодеяние некоей Гестер Прин, которая, с точки зрения наших предков, была личностью не совсем обычной. Она жила в эпоху между началом заселения Массачусетса и концом семнадцатого века. Старики, которых мистер Пью еще застал в живых и с чьих слов записал свой рассказ, в юности видели ее старой, но отнюдь не дряхлой женщиной, статной и всегда серьезной. С незапамятных времен она считала своим долгом ходить из дома в дом по всей округе в качестве добровольной сиделки, оказывала соседям посильную помощь, а также смело давала им советы во всех делах, особенно же в сердечных. Как неизменно бывает со всеми людьми таких склонностей, одни видели в ней ангела, другие же, надо думать, считали ее назойливой и докучной. Читая дальше рукопись, я узнал о других делах и страданиях этой необыкновенной женщины; большая часть ее истории изложена в повести «Алая буква». Не нужно забывать, что основные факты, приведенные в ней, подтверждены и заверены рукописью мистера Пью. Последняя вместе с алой буквой – этой любопытнейшей реликвией – все еще находится у меня и может быть предъявлена любому читателю, который захотел бы взглянуть на нее, заинтересовавшись описанными мною событиями. Не следует думать, что, излагая эту историю и стараясь объяснить поступки и чувства действующих лиц, я ограничивался лишь тем, что содержалось в немногих листках, исписанных моим предшественником. Напротив, я позволил себе тут полную свободу, словно все факты были мною вымыслены. Я настаиваю лишь на достоверности общих контуров.

Этот случай до некоторой степени снова направил мой ум по старому пути. Передо мной была заготовка повести. Я чувствовал себя так, словно в пустующей комнате таможни встретился лицом к лицу со старым надзирателем, одетым по моде столетней давности и в бессмертном парике, впоследствии похороненном вместе с ним, но не истлевшем и в могиле. В осанке мистера Пью было достоинство человека, назначенного на должность самим королем, а следовательно, озаренного лучами, так ослепительно сиявшими вокруг трона. Увы, какая разница по сравнению с жалким видом чиновника республики, который, в качестве слуги народа, чувствует себя ничтожнее самого ничтожного, меньше самого малого из своих начальников! Неясная, но величественная фигура указывала призрачной рукой на алый знак и свернутую трубкой пояснительную записку. Призрачным голосом она требовала от меня, чтобы я, памятуя о священном долге сыновнего почтения, – ибо надзиратель мог считать себя моим прародителем по должности! – довел до публики найденные мною заплесневелые и траченные молью литературные упражнения. «Сделай это! – говорил призрак мистера Пью, взволнованно качая своей величественной головой в достопамятном парике. – Сделай, и пусть доход достанется тебе одному. Он скоро тебе понадобится, ибо твое время отличается от моего, когда должность у человека была пожизненной, а иногда и наследственной. Но я требую, чтобы, занявшись историей старой миссис Прин, ты отдал законный долг памяти твоего предшественника». И я сказал призраку мистера Пью: «Хорошо!» Таким образом, я много думал о Гестер Прин. Я размышлял о ней, часами расхаживая по комнате или в сотый раз измеряя шагами длинный коридор, который вел от парад-

ного входа в таможенную к ее боковой двери. Как были недовольны весовщики, и приемщики, и старый инспектор, чью дремоту безжалостно нарушал неумолчный стук моих приближающихся и удаляющихся шагов! Они обычно говорили, по старой привычке, что надзиратель обходит шкафы. По-видимому, они считали, что мною владеет при этом лишь желание нагулять себе аппетит перед обедом; действительно, какое иное желание может заставить здравомыслящего человека добровольно ходить взад и вперед? И, по правде говоря, аппетит, усиленный ветром, который вечно дул в коридоре, был единственным ценным следствием столь неустанных упражнений. Так мало приспособлены нежные плоды воображения и чувствительности к воздуху таможни, что, останься я там еще на десяток новых президентских сроков, вряд ли повесть «Алая буква» когда-либо предстала бы перед публикой. Моя фантазия стала похожа на потускневшее зеркало. Если она и отражала образы, которыми я старался ее населить, то какое это было смутное, неясное отражение! Жар, раздуваемый мною в горниле разума, не согревал, не делал пластичными героев повествования. Лишенные сверкания страстей и теплоты чувств, очоленные, как трупы, они смотрели на меня с застывшей холодной усмешкой, полной презрительного недоверия. Казалось, они говорили: «Что тебе нужно от нас? Если некогда у тебя и была власть над племенем нереальных существ, теперь ее нет. Ты променял ее на жалкие подачки из государственной казны. Ступай, отрабатывай свое жалованье!» Словом, эти полуживые создания, плоды моей фантазии, меня же называли глупцом – и не без основания.

Злосчастное оцепенение владело мною не только в течение тех трех с половиной часов моей каждодневной жизни, на которые претендовал дядя Сэм. Оно сопровождало меня на прогулках по берегу моря и в блужданиях по окрестностям, всегда и везде в те редкие дни, когда я заставлял себя искать вдохновляющего воздействия природы, которое прежде сообщало моим мыслям свежесть и бодрость, стоило мне выйти за ворота Старой Усадьбы. Та же духовная апатия не покидала меня и дома, тяготела надо мной в комнате, столь неосновательно величаемой кабинетом. Она не разлучалась со мной даже поздней ночью, когда, сидя в опустелой гостиной, озаряемой только лунным светом да мерцанием углей в камине, я пытался мысленно нарисовать сцены, которые могли бы на следующий день превратиться на ослепительно чистом листе бумаги в многокрасочные описания.

Если и в эти часы воображение отказывается работать, случай следует признать безнадежным. Нет обстановки, более располагающей сочинителя романов к встрече со своими призрачными гостями, чем издавна знакомая комната, где лунные лучи заливают ковер таким белым сиянием, так явственно вырисовывают узор на нем, делают каждый предмет таким отчетливым и вместе с тем совсем иным, чем в утреннем или полуденном свете! Домашний уют привычно расставленных вещей; кресла, каждое со своей особой индивидуальностью; стол посередине с рабочей корзинкой, несколькими книгами и потушенной лампой; диван; книжный шкаф; картина на стене, – все эти вещи, видимые во всех подробностях и одухотворенные необычным освещением, словно теряют материальность и становятся созданиями воображения. Меняются, обретая новое достоинство, самые мелкие, самые пустячные предметы. Детский башмачок, кукла, сидящая в плетеной колясочке, деревянная лошадка, – словом, все, чем пользовались или играли в течение дня, кажется теперь странным, отдаленным, хотя почти столь же живо ощутимым, как и при дневном свете. И вот пол в нашей привычной комнате становится нейтральной полосой, чем-то соединяющим реальный мир со страной чудес, где действительность и фантазия могут встретиться и слиться друг с другом. Появись здесь призраки, они не испугали бы нас. Если бы, оглянувшись, мы увидели давно исчезнувший любимый образ, неподвижно застывший в волшебном лунном свете, мы не удивились бы ему, настолько обстановка соответствует этому видению, и лишь задумались бы над тем, действительно ли он вернулся из далеких краев или никогда не покидал уголка возле нашего камина.

Угли, тускло мерцающие в камине, только усиливают описанное мною ощущение. Мягко освещая комнату, они расцветивают в красноватые тона стены и потолок и искрятся на полированной поверхности мебели. Смешиваясь с холодной одухотворенностью лунных лучей, этот теплый свет сообщает человеческую сердечность и нежную чувствительность созданиям воображения. Он превращает их из снежных человечков в мужчин и женщин. В призрачной глубине зеркала мы видим отблески дотлевающих углей, белые лунные лучи на полу, всю картину с пятнами света и тени, но еще менее реальную, еще более фантастическую. Так вот, если в такой час и в такой обстановке сидящий в одиночестве человек не может вообразить небывалые вещи и придать им достоверность, значит ему нечего браться за сочинение романов.

Но пока я работал в таможне, мне было безразлично, светит солнце или луна, или то угли мерцают в камине: польза от них была такая же, как от сальной свечи. Я перестал воспринимать целый ряд вещей, а вместе с восприимчивостью исчез и связанный с нею дар, не очень значительный или богатый, но самый для меня драгоценный.

Все же, мне думается, я не оказался бы таким тупым и несостоятельным, если бы попробовал сочинять произведения другого рода. Можно было бы, например, удовольствоваться передачей историй одного из инспекторов, старого шкипера, о котором я обязан упомянуть хотя бы из простой благодарности, ибо не проходило дня, чтобы он не заставлял меня хохотать и восхищаться его талантом рассказчика. Сохрани я живописную яркость его стиля и юмористическую окраску, которую он умел придавать своим описаниям, в литературе, несомненно, появилось бы нечто совсем новое. Мог бы я взяться и за какую-либо более серьезную задачу. При бесцветности моего ежедневного существования, которое так назойливо давило на меня, было чистым безумием пытаться перенестись в иной век или во что бы то ни стало создавать из неосязаемых элементов подобие реального мира, когда воздушная красота моих мыльных пузырей ежеминутно погибала, сталкиваясь с действительностью. Куда разумнее было бы проникнуть мыслью и воображением сквозь плотную поверхность обыденности и тем самым придать ей прозрачность, одухотворить бремя, становившееся невыносимым, упорно искать истинные и нетленные ценности, скрытые в скучных происшествиях и заурядных характерах, с которыми я соприкасался. Виноват я сам. Мне открылась страница жизни, которая казалась мне унылой и неинтересной потому лишь, что я не мог постигнуть скрытый в нем смысл. Передо мной была книга, такая прекрасная, какой мне никогда не написать. Улетающие часы писали ее, лист за листом, и представляли написанное моему взору, но оно немедленно исчезало по той лишь причине, что мысль моя была недостаточно проникательна, а рука – искусна, чтобы запечатлеть его на бумаге. Когда-нибудь я, возможно, вспомню отдельные куски, фрагменты, и запишу их, и увижу, как буквы на странице превращаются в золото.

Понимание этого пришло ко мне слишком поздно. В то время я чувствовал лишь, что бывшее наслаждение становится безнадежной тратой сил. Я не собирался особенно плакаться по этому поводу. Просто я прекратил бесплодные попытки и из автора довольно убогих рассказов и очерков превратился в довольно сносного таможенного надзирателя. Вот и все. Однако не очень приятно мучиться подозрением, что ваш разум хиреет или, незаметно для вас, испаряется, как эфир из склянки, что при каждом осмотре его оказывается все меньше и остаток уже не так летуч... Сомневаться в самом факте было невозможно, и, размышляя о себе и о других, я приходил к выводу, что государственная служба не слишком благоприятно отражается на личности. Возможно, что когда-нибудь я разовью этот вывод в другой форме. Здесь же достаточно будет сказать, что чиновник, много лет работающий в таможне, не может быть лицом, достойным похвалы или уважения, по ряду причин: одна из них коренится в правовом принципе, в силу которого он сохраняет свое положение, дру-

гая – в самой сущности работы, вполне честной, с моей точки зрения, но отстраняющей его от общих усилий человечества.

Следствием работы в таможене, которое, мне кажется, можно проследить на всяком, кто служил там, является то обстоятельство, что чиновник, опирающийся на могучую руку республики, теряет свою собственную устойчивость. В степени, пропорциональной силе или слабости его натуры, он лишается способности поддерживать свое существование без посторонней помощи. Если он наделен незаурядной долей врожденной энергии или ослабляющее влияние службы не было слишком длительным, утраченная сила может восстановиться. Уволенный чиновник – счастливчик, которого бесцеремонный пинок своевременно толкнул туда, где ему предстоит бороться совместно со всеми людьми, – может вновь обрести себя и стать тем, кем он когда-то был. Но такие случаи не часты. Обычно же он удерживает за собою место достаточно долго для того, чтобы окончательно ослабеть и потерять упругость мышц, а потом его выбрасывают на трудную тропу жизни и предоставляют самому себе. Чувствуя свою немощь, чувствуя, что в нем уже не осталось былой закаленности и гибкости, он горестно оглядывается вокруг, в поисках поддержки извне. Он твердо и нерушимо верит, что вот-вот благодаря удачному стечению обстоятельств его, наконец, снова возьмут на прежнее место; эта иллюзорная вера, закрывающая глаза на неустранимые препятствия, преследует человека весь остаток жизни, невзирая на все разочарования, и, думается мне, подобно холерной судороге, мучает его некоторое время даже после смерти. Такое упование более всего другого лишает шансов на успех всякое дело, за которое он надумал бы взяться. Чего ради человеку утруждать себя, стараясь выбраться из болота, если в скором времени сильная рука дяди Сэма вытащит и поддержит его? Чего ради трудиться здесь или добывать золото в Калифорнии, если в недалеком будущем он снова будет счастлив, получая ежемесячно горку блестящих монет из дядинового кармана? Любопытно, хотя и печально наблюдать, как самой небольшой дозы государственной службы достаточно, чтобы несчастный человек заболел этой странной болезнью. Я не собираюсь быть непочтительным к дяде Сэму, но на золоте достойного старого джентльмена лежит иной раз такое же заклятие, как на сокровищах дьявола. Тот, кто прикасается к этим монетам, должен быть настороже, иначе договор обратится против него и он потеряет если не душу, то многие из лучших своих душевных качеств: решительность, смелость и постоянство, верность, умение полагаться на себя – словом, все, из чего складывается мужественный характер.

Нечего сказать, приятная перспектива! Не то чтобы надзиратель относил все это на свой счет и думал, что окончательно выйдет из строя и в том случае, если его оставят работать в таможене, и в том случае, если уволят. Но все же мои размышления были не самого веселого свойства. Я начал хандрить, терять спокойствие, все время копался в себе, стараясь определить, какие из моих скромных способностей исчезли и насколько разрушились те, что еще сохранились. Я пытался рассчитать, сколько времени я еще могу оставаться в таможене и все-таки уйти оттуда, не потеряв окончательно человеческого облика. Поскольку выгнать такое безобидное существо, как я, было бы неpolitично, а чиновник, сам подающий в отставку, – явление противоестественное, больше всего, по правде говоря, меня пугала опасность – посев и состарившись на работе в таможене, превратиться в животное, подобное старому инспектору. При скучном однообразии служебной жизни не случится ли со мной того же, что случилось с моим почтенным другом: не начну ли я ждать обеденного часа как главного события дня и не стану ли проводить остальное время подобно старому псу, дремлющему на солнце или в тени? Унылая перспектива для человека, который видит счастье в том, чтобы полностью пользоваться всеми своими чувствами и способностями! Но моя тревога оказалась напрасной. Провидение позаботилось обо мне таким способом, какого я и представить себе не мог.

Знаменательным событием на третьем году моей бытности надзирателем, – говоря языком «П. П.», – было избрание президентом генерала Тэйлора.³⁴ Для полного понимания преимуществ государственной службы следует напомнить о том, что ожидает чиновника, когда приходит к власти правительство оппозиционной партии. Смертный человек не может оказаться в положении более сложном и во всяком случае более неудобном: благоприятный исход здесь почти невозможен, хотя то, что представляется пострадавшему наихудшей возможностью, нередко оказывается наилучшей. Человеку гордому и чувствительному весьма странно сознавать, что его благополучие – в руках людей, не любящих и не понимающих его, людей, от которых ему приятнее претерпеть обиду, чем принять знаки расположения, раз уж такая альтернатива неизбежна. Если он сохранял спокойствие во время выборной борьбы, то не менее странно ему наблюдать кровожадность торжествующих победителей, понимая, что одним из объектов этой кровожадности является он сам! В человеческом характере мало свойств более отвратительных, чем знакомая мне по самым обыкновенным людям способность становиться жестокими только потому, что им дана власть вредить. Если бы гильотина в применении к служебной жизни была реальностью, а не просто на редкость подходящей метафорой, то, как я искренне убежден, активные деятели победившей партии в пылу возбуждения вполне могли бы поотрубить всем нам головы, возблагодарив небо за эту возможность! Мне, спокойному, любознательному наблюдателю и взлетов и падений, кажется, что многочисленные победы моей партии никогда не были отмечены столь злобным и свирепым духом вражды и мести, как тогдашняя победа вигов. Демократ вступает в должность отчасти потому, что она ему нужна, а отчасти потому, что такой шаг давно уже узаконен многолетней практикой. Роптать на подобную практику не было бы слабостью и трусостью лишь в том случае, если бы изменилась вся система. Долгая привычка к главенству сделала демократов великодушными. Они умеют щадить, если есть к тому возможность, а когда казнят, то, хотя лезвие их топора остро, оно почти никогда не бывает отравлено злорадством. Нет у них также позорной привычки пинать голову, которую они только что отсеки.

Короче говоря, несмотря на неприятность и затруднительность моего положения, я по многим причинам поздравлял себя с тем, что очутился не среди победивших, а среди побежденных. Если раньше я был не слишком рьяным сторонником демократов, то теперь, в пору неудач и опасностей, для меня стало очевидным, на стороне какой партии мои симпатии, и, разумно учитывая все обстоятельства, я не без некоторого стыда и огорчения думал о том, что имею больше шансов удержаться на работе, чем любой из моих собратьев-демократов. Но кто из нас умеет видеть дальше собственного носа? Моя голова слетела первой!

Полагаю, что минута, когда человеку отрубают голову, редко бывает отраднейшей минутой его жизни. Тем не менее даже при такой крупной неприятности, как и при большинстве наших несчастий, можно найти лекарство и утешение, если, разумеется, потерпевший старается увидеть не худшую, а лучшую сторону случившегося. Что касается меня, то целебные средства были под рукой, и я, конечно, начал думать о них задолго до того, как пришлось к ним прибегнуть. Так как работа в таможне меня уже тяготила и я не раз помышлял об отставке, судьба моя несколько напоминала судьбу человека, который хочет покончить с собой, когда, сверх всяких ожиданий, на его долю выпадает удача и он оказывается убитым. Как некогда в Старой Усадьбе, так и теперь в таможне, я провел три года, – срок достаточный, чтобы усталый мозг отдохнул; достаточный, чтобы старые интеллектуальные привычки сменились новыми; достаточный, слишком достаточный для того, чтобы переменить, наконец, неестественный образ жизни и занятия, не доставлявшие никому ни пользы, ни радости, и взяться за то, что могло бы по крайней мере утишить мою внутреннюю тревогу. Что же касается бесцеремонности увольнения, то бывший надзиратель скорее обра-

³⁴ Тэйлор, Захария (1784–1850) – президент США от партии вигов в период 1849–1850 годов.

довался тому, что виги причислили его к своим врагам, так как его политическая бездельность и склонность своевольно бродить по широкому, спокойному простору, куда есть доступ всему человечеству, избегая тех узких троп, где не пройти рядом даже родным братьям, заставляли порой и демократов сомневаться в том, действительно ли он – их друг. Теперь же, когда он заслужил венец мученичества (который, за неимением головы, не на что было надеть), этот вопрос можно было считать решенным. И пусть героизма тут было мало, все же надзирателю казалось куда почетнее пасть вместе с партией, с которой он был заодно, когда она была сильна, чем пережить многих куда более достойных людей, остаться в одиночестве и, просуществовав четыре года по милости враждебной партии, потом заново выяснять свое положение и просить еще более унижительной милости от соратников.

Тем временем за мое дело ухватилась пресса, и в течение двух недель моя обезглавленная персона, напоминая ирвинговского всадника без головы,³⁵ влачилась по страницам всех газет, в прискорбном и мучительном ожидании скорейших похорон, подобающих каждому политическому мертвецу. Все это относится ко мне как к существу символическому, а как реальная личность я, благополучно сохранив голову на плечах, пришел к приятному выводу, что все в мире к лучшему, истратил целый капитал на чернила, бумагу и перья и, усевшись за давно покинутый письменный стол, вновь сделался литератором.

Вот тут-то и пригодились мне писания моего предшественника, мистера Пью. Понадобилось некоторое время, чтобы мой умственный механизм, заржавевший от долгого бездействия, начал сколько-нибудь сносно работать над повестью. Потом мысли мои сосредоточились на ней, но все же она получилась у меня слишком сумрачной и суровой, не озаренной приветливыми солнечными лучами, не согретой привычным теплом нежности, которое смягчает почти все картины природы и человеческой жизни и уж во всяком случае должно смягчать их воспроизведение. Возможно, это отсутствие очарования объясняется эпохой, в которой происходит действие, – Революция только что закончилась, и кипение страстей еще не улеглось. Искать причину в невеселом расположении духа автора было бы неправильно, потому что со времен Старой Усадьбы он ни разу не был так счастлив, как в те часы, когда пробирался сквозь мглу этих бессолнечных вымыслов. Несколько вещей покороче, входящих в этот том, также были написаны после моего невольного ухода с хлопотливого и почетного поприща гражданской службы, а остальные произведения взяты из номеров ежегодных альманахов и ежемесячных журналов, где они были напечатаны так давно, что все о них давно запамятовали, и они словно заново родились на свет.³⁶ Если продолжить метафору насчет гильотины, то весь том можно назвать «Посмертными сочинениями обезглавленного таможенного надзирателя»; что же касается очерка, который я в настоящую минуту заканчиваю, то он слишком автобиографичен, чтобы столь скромный человек, как я, решился опубликовать его при жизни, но вполне уместен, как произведение джентльмена, уже лежащего в могиле. Да снидет мир к вам всем! Я благословляю своих друзей! Я прощаю врагов! Ибо я пребываю в царстве покоя!

Таможня осталась позади, подобно сну. Старый инспектор, – кстати, к великому сожалению, его недавно сшибла с ног и убила лошадь, иначе он жил бы вечно, – а вместе с ним и остальные почтенные джентльмены, собиравшие пошрины, кажутся мне тенями – белоглавыми, морщинистыми призраками, которыми моя фантазия поиграла, а потом навеки перестала заниматься. Купцы – Пингри, Филлипс, Шепард, Эптон, Кимбал, Бертрам, Хэнт и многие другие, чьи имена полгода назад так привычно звучали для моего уха, – эти коммерсанты, которые, казалось, играли такую важную роль в мире, – с какой быстротой они

³⁵ ...ирвинговского всадника без головы... – В новелле Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной ложине» один из героев гонится за своим перепуганным соперником, замаскировавшись «всадником без головы».

³⁶ Когда автор писал этот очерк, он собирался, вместе с «Алой буквой», напечатать несколько не столь длинных рассказов и набросков, но затем было решено, что разумнее отложить это намерение.

отошли от меня не только в действительности, но и в воспоминании! Даже эти немногие лица и фамилии я воссоздаю с трудом. Вскоре и мой родной старый город будет маячить передо мной сквозь дымку времени, окруженный туманной пеленой, словно он существует не на реальной земле, а витает где-то в облаках, и не живые, а воображаемые люди населяют его деревянные дома и ходят по его некрасивым переулкам и растянутой, неживописной Главной улице. Впредь он не будет реальностью моей жизни. Я теперь гражданин другого города. Мои добрые земляки не станут слишком сокрушаться обо мне, потому что, хотя я старался своим литературным трудом снискать их уважение в такой же мере, как и уважение других читателей, и хотел оставить по себе добрую память в том месте, где жили и умерли мои предки, — все же я там никогда не чувствовал сердечного понимания, необходимого писателю, чтобы его разум мог принести обильный урожай. Мне будет лучше среди других людей, а эти, столь знакомые, само собой разумеется, легко обойдутся без меня.

Однако может случиться — о, окрыляющая, радостная мысль! — что правнуки моих современников тепло подумают и о писаке прошедших дней, когда археолог дней грядущих среди других мест, памятных в истории города, будет показывать им место, где находилась городская водокачка!³⁷

³⁷ ...городская водокачка... — «Струя из городской водокачки» — скетч Готорна, вошедший в сборник «Дважды рассказанные истории». Он написан в форме монолога водяного источника, бьющего на перекрестке двух салемиких улиц. Этот источник — неутомимый, веселый, одинаково радостно уделяющий свою воду богачам и беднякам, — является частью истории города, его «живой струей», появившейся в свое время и индейских вождей, и первых губернаторов колонии, и последующие поколения обитателей Салема. Он будет давать воду и тогда, когда не будет в живых автора «Алой буквы». Образ этой неумирующей струи воды не случайно противопоставлен «преходящим» явлениям фанатизма и нетерпимости, калечащим жизнь людей. Готорн очень любил этот скетч и композиционно противопоставил свою «водокачку» непосредственно за ней следующей главе о «дверях тюрьмы».

Глава I

Двери тюрьмы

Перед бревенчатым строением, массивные дубовые двери которого были усеяны головками кованых гвоздей, собралась толпа, – бородатые мужчины в темных одеждах и серых островерхих шляпах, попеременно с женщинами, простоволосыми или в чепцах.

Каких бы утопических взглядов на человеческое счастье и добродетель ни придерживались основатели новых колоний, они неизменно сталкивались с необходимостью прежде всего отвести один участок девственной почвы под кладбище, а другой – под тюрьму. Памятуя это правило, можно не сомневаться, что отцы города Бостона выстроили первую тюрьму неподалеку от Корнхилла не намного позже, чем разбили первое свое кладбище на участке Айзека Джонсона,³⁸ чья могила послужила ядром, вокруг которого впоследствии начали располагаться могилы всех прихожан старой Королевской церкви.³⁹ Так или иначе, спустя пятнадцать-двадцать лет после основания города исхлестанное непогодой деревянное здание уже потемнело, состарилось, а фасад его стал еще более хмурым и мрачным. На тяжелой оковке дубовых дверей лежал такой слой ржавчины, что, казалось, во всем Новом Свете не было ничего древнее этой тюрьмы. Словно она так и явилась на свет – старой, как само преступление. Перед этим уродливым зданием, между ним и проезжей частью улицы, была расположена лужайка, сплошь покрытая репейником, лебедой и прочей неприглядной растительностью, которая, по-видимому, нашла нечто родственное себе в самой почве, столь рано породившей на свет черный цветок цивилизации – тюрьму. Но сбоку от дверей, почти у самого порога, раскинулся куст диких роз, усыпанный – дело было в июне – нежными цветами, которые точно предлагали и арестованному, впервые входящему в тюрьму, и выходящему навстречу судьбе осужденному свою хрупкую прелесть и тонкий аромат в знак того, что всеобъемлющее сердце природы исполнено милосердия и скорбит о его участи.

³⁸ Айзек Джонсон – один из ранних колонистов, обосновавшихся в Бостоне.

³⁹ Королевская церковь – старинная церковь в Бостоне, сохранившаяся до настоящих дней.



Этот розовый куст по какой-то странной случайности рос тут с незапамятных времен. Мы не в состоянии установить, просто ли он сохранился с той поры, когда его окружал дремучий суровый лес, и как-то пережил падение склонявшихся над ним могучих дубов и сосен, или же – как утверждают весьма достоверные источники – расцвел из-под ног праведницы Энн Хетчинсон,⁴⁰ когда она вступала в двери тюрьмы. Поскольку, однако, этот куст находится на самом пороге нашего повествования, которое берет начало у зловещего входа, нам остается лишь сорвать один из его цветков и предложить читателю. Мы надеемся, что он послужит символом иного прекрасного и одухотворенного цветка, выросшего на жизненном пути, и, быть может, ему удастся смягчить мрачное завершение этого рассказа о человеческой слабости и скорби.

⁴⁰ Энн Хетчинсон (1591–1643) – в XVII веке в Бостоне возглавила религиозную секту «антиномистов», утверждавших, что верующий сливается со святым духом без посредства церкви и священников. В 1636–1637 годах ее и ее единомышленников судили и приговорили к отлучению от церкви. Она была изгнана из колонии Массачусетс и впоследствии убита индейцами.

Глава II

Рыночная площадь

Толпа бостонских жителей, заполнившая летним утром добрых два столетия назад зеленую лужайку перед зданием на Тюремной улице, не спускала глаз с окованной железом дубовой двери. Если бы речь шла не о бостонцах, или пусть даже и о бостонцах, но другого, более позднего периода в истории Новой Англии, можно было бы с уверенностью сказать, судя по угрюмой непреклонности, застывшей на бородатых лицах этих простых людей, что им предстоит какое-то грозное зрелище – по меньшей мере назначенная на этот час казнь известного преступника, которому законный суд вынос приговор, лишь подтвердивший вердикт общественного мнения. Однако суровые нравы первых поколений пуритан делают такое предположение не столь уж несомненным. Виновный мог оказаться попросту нерасторопным белым рабом или непочтительным сыном, переданным родителями местным властям для наказания плетью у позорного столба. Это мог быть антиномист, квакер или какой-нибудь другой сектант, подлежащий изгнанию из города, или же индеец, хвативший огненной воды белого человека, бродяга и лодырь, которого за буйство на улицах следовало наказывать бичом и прогнать в дремучие леса. Но это могла быть и приговоренная к виселице колдунья, вроде старой миссис Хиббинс,⁴¹ зловредной вдовы судьи. В любом случае зрители отнеслись бы к церемонии с неизменной серьезностью, как подобает народу, у которого религия и закон слиты почти воедино и так переплелись между собой, что самые мягкие и самые суровые акты публичного наказания равно внушали уважение и благоговейный страх. Преступнику нечего было рассчитывать на сколько-нибудь теплые чувства со стороны зрителей, окружавших эшафот. Поэтому наказание, которое в наши дни грозило бы осужденному лишь насмешками и презрением, облекалось в те времена достоинством не менее мрачным, чем смертная кара.

Следует также отметить, что в летнее утро, с которого начинается наш рассказ, особенный интерес к предстоящему наказанию проявляли находившиеся в толпе женщины. В старину утонченность была не настолько развита, чтобы чувство благопристойности удержало носительниц чепчиков и юбок с фижмами от искушения потолкаться в толпе, а при случае и протиснуться своей отнюдь не тщедушной персоной к эшафоту, где происходила казнь. Эти жены и дочери коренных уроженцев Старой Англии были как в духовном, так и в физическом отношении существами куда более грубого склада, чем их прелестные пра-пра-внучки шесть-семь поколений спустя; в длинной цепи наследования румянец, передаваемый матерью дочерям, становился от раза к разу все бледнее, красота – все тоньше и недолговечнее, телосложение все воздушнее, да и характер постепенно утрачивал свою силу и устойчивость. Менее полувека отделяло женщин, стоявших у входа в тюрьму, от той эпохи, когда мужеподобная Елизавета⁴² была вполне достойной представительницей своего пола. Женщины эти являлись ее соотечественницами; они были вскормлены на говядине и эле своей родины и на столь же мало утонченной духовной пище. Таким образом, солнце в тот день озаряло могучие плечи, пышные формы и круглые цветущие щеки, налившиеся на далеком острове и не успевшие еще похудеть и поблекнуть под небом Новой Англии. А смелость и сочность выражений, на которые не скупилась эти матроны – большинство из них выгля-

⁴¹ *Хиббинс, Энн* – жительница Бостона, осужденная на смертную казнь по обвинению в колдовстве. Была казнена 19 июня 1656 года.

⁴² ...*мужеподобная Елизавета*... – Имеется в виду королева Англии Елизавета I (1533–1603).

дело именно матронами, – равно как и зычность их голосов, показались бы в наше время просто устрашающими.

– Я вам, соседки, вот что скажу, – разглагольствовала женщина лет пятидесяти с жестким лицом. – Было бы куда лучше для общины, если бы такая злодейка, как Гестер Прин, попала в руки почтенных женщин и добрых прихожанок, вроде нас с вами. Как по-вашему, кумушки? Доведись вот хоть нам пятерым, которые стоят здесь, судить шлюху, разве отделилась бы она таким приговором, какой вынесли ей достойные судьи? Как бы не так!

– Люди рассказывают, – подхватила другая, – что преподобный мистер Димсдейл, ее духовный отец, просто убит таким скандалом в его приходе!

– Что правда, то правда, – добавила третья отцветающая матрона. – Судьи, конечно, люди богобоязненные, только слишком уж мягкосердечные. Этой Гестер Прин следовало бы выжечь каленым железом клеймо на лбу. Вот тогда мадам Гестер получила бы сполна! А к платью ей что ни прицепи, – такую дрянь этим не проймешь. Она прикроет знак брошкой или еще каким-нибудь бесовским украшением и будет разгуливать по улицам как ни в чем не бывало, вот увидите!

– Ах, что вы! – вмешалась более мягкосердечная молодая женщина, державшая за руку ребенка. – Как ни прикрывай знак, а рана в сердце останется навек!

– К чему все эти разговоры о том, где лучше ставить знаки и клейма – на платье или просто на лбу? – воскликнула еще одна участница этого самочинного суда, самая уродливая и самая безжалостная из всех. – Она нас всех опозорила, значит ее нужно казнить. Разве это не будет справедливо? И в Писании так сказано и в своде законов. Пусть же судьи, которые забыли об этом, пеняют сами на себя, когда их собственные жены и дочери сойдутся с пути!

– Помилуй нас Бог, матушка! – ответил ей какой-то мужчина из толпы. – Разве женская добродетель только и держится, что на боязни виселицы? Страшные вещи вы говорите! А теперь потише, кумушки! В дверях поворачивается ключ, и сейчас миссис Прин пожалует сюда собственной персоной.

Двери тюрьмы распахнулись, и в них появилась черная, как тень среди ясного дня, мрачная и зловещая фигура судебного пристава с мечом у пояса и жезлом – знаком его достоинства – в руке. На этом человеке, в облике которого воплощался суровый, беспощадный дух пуританской законности, лежала обязанность распоряжаться церемонией исполнения приговора. Левой рукой он сжимал жезл, а правой придерживал за плечо молодую женщину, которую вел к выходу. Однако на пороге тюрьмы она оттолкнула его жестом, исполненным достоинства и мужества, и вышла на улицу с таким видом, будто делает это по доброй воле. На руках она несла ребенка – трехмесячного младенца, который мигал и отворачивал личико от ослепительного дневного света, ибо его существование до тех пор протекало в сером полумраке камеры и других, не менее темных, тюремных помещений.

Когда молодая женщина – мать ребенка – оказалась лицом к лицу с толпой, первым ее побуждением было крепче прижать младенца к груди. Побуждение это вызывалось не столько материнской нежностью, сколько желанием скрыть таким образом какой-то знак, прикрепленный или пришитый к ее платью. Однако тотчас же, мудро рассудив, что бесполезно прикрывать один знак позора другим, она удобнее положила ребенка на руку и, вспыхнув до корней волос, но все-таки надменно улыбаясь, обвела прямым, вызывающим взглядом своих сограждан и соседей. На лифе ее платья выделялась вырезанная из тонкой красной материи буква «А»,⁴³ окруженная искусной вышивкой и затейливым золототканым узором. Вышивка была выполнена так мастерски, с такой пышностью и таким богатством фантазии, что производила впечатление специально подобранной изысканной отделки к платью, столь

⁴³ «А» – первая буква слова Adulteress (прелюбодейка).

нарядному, что хотя оно и было во вкусе времени, однако далеко переступало границы, установленные действовавшими в колонии законами против роскоши.

Молодая женщина была высока ростом, ее сильная фигура дышала безупречным изяществом. В густых, темных и блестящих волосах искрились солнечные лучи, а лицо, помимо правильности черт и яркости красок, отличалось выразительностью благодаря четким очертаниям лба и глубоким черным глазам. Была в ее внешности также какая-то аристократичность в духе тогдашних требований, предъявляемых к изысканной женской красоте, аристократичность, выражавшаяся скорее в осанке и достоинстве, нежели в непередаваемой, хрупкой и недолговечной грации, которая служит признаком благородства в наши дни. И никогда Гестер Прин не казалась более аристократичной в старинном значении этого слова, чем в ту минуту, когда она выходила из тюрьмы. Люди, встречавшиеся с ней раньше и ожидавшие увидеть ее подавленной, омраченной нависшими над ее головой зловещими тучами, были поражены и даже потрясены тем, как засияла ее красота в ореоле несчастья и позора. Впечатлительный зритель, вероятно, не мог бы глядеть на нее без мучительной боли. Причудливое и красочное своеобразие наряда, который она специально для этого случая сшила в тюрьме, руководствуясь лишь собственной фантазией, по-видимому выражало ее душевное состояние и безрассудную смелость. Но точкой, приковавшей к себе глаза толпы и до того преобразившей Гестер Прин, что мужчинам и женщинам, прежде близко знакомым с нею, показалось, будто они видят ее впервые, была фантастически разукрашенная и расцвеченная алая буква. В ней словно скрывались какие-то чары, которые, отторгнув Гестер Прин от остальных людей, замкнули ее в особом кругу.

– Ничего не скажешь, рукодельница она хоть куда! – заметила одна из зрительниц. – Только надо быть совсем уж бессовестной потаскухой, чтобы хвастать этим в такую минуту! Ну скажите, кумушки, разве не насмешка над нашими благочестивыми судьями – кичиться знаком, который эти достопочтенные джентльмены считали наказанием?

– Сорвать бы это роскошное платье с ее грешных плеч! – проворчала самая твердокаменная из старух. – А красную букву, которую она так старательно разукрасила, вполне можно было бы сделать из старой фланелевой тряпки, вроде той, что я ношу при простуде.

– Потише, соседки, потише! – прошептала младшая из зрительниц. – Нехорошо, если она нас услышит! Ведь каждый стежок на этой вышитой букве прошел сквозь ее сердце!

Суровый пристав взмахнул жезлом.

– Дорогу, люди добрые! Дорогу, именем короля! – закричал он. – Расступитесь, и я обещаю вам отвести миссис Прин туда, где вы все – взрослые и дети – сможете любоваться ее замечательным украшением с этой самой минуты и до часу дня. Да будет благословенна праведная массачусетская колония, где порок сразу выводят на чистую воду! Ступайте же, мадам Гестер, покажите вашу алую букву на Рыночной площади!

Толпа зрителей расступилась и образовала проход. Предшествуемая приставом и сопровождаемая беспорядочной процессией хмурых мужчин и недоброжелательных женщин, Гестер Прин направилась к месту, предназначенному для ее наказания. Полные любопытства школьники, которым из всего происходившего было ясно только то, что их на полдня освободили от уроков, стайкой побежали впереди, поминутно оглядываясь и стараясь рассмотреть лицо Гестер, жмурившегося ребенка у нее на руках и позорный знак на груди. В те дни расстояние от тюрьмы до Рыночной площади было не так уж велико. Тем не менее осужденной это путешествие показалось, надо думать, довольно длинным, ибо за надменностью ее поведения, вероятно, скрывались такие муки, точно эти люди, толпой шедшие за ней, безжалостно топтали ее сердце, брошенное им под ноги. К счастью, в нашей природе заложено чудесное и в то же время спасительное свойство не сознавать всей глубины переживаемых нами мучений; острая боль приходит к страдальцу лишь впоследствии. Поэтому Гестер Прин с почти безмятежным видом прошла через эту часть своего испытания и достигла эша-

фота на западном краю площади. Он стоял почти под самым карнизом первой бостонской церкви и выглядел так, словно прирос к ней.

Для нас, то есть для двух-трех последних поколений, этот эшафот, представляющий собою часть карательной машины, существует лишь как характерная историческая деталь; однако в старину он был столь же важным средством воспитания законопослушных граждан, как гильотина в руках французских террористов. Короче говоря, это был помост, над которым возвышалась рама вышеупомянутого исправительного орудия, с помощью которого можно было зажать голову человека в крепкие тиски и затем удерживать ее на виду у зрителей. В этом сооружении из дерева и железа воплощалась наивысшая степень бесчестия для наказуемого. Каков бы ни был проступок, не существует, мне кажется, кары, более противной человеческой природе и более жестокой, чем лишение преступника возможности спрятать лицо от стыда; а как раз в этом и заключалась вся суть наказания. Однако в случае с Гестер Прин, как и во многих других случаях, приговор требовал только, чтобы она простояла определенное время на помосте, но без ошейника, без тисков на голове, словом, без всего того, что было особенно отвратительно в этой дьявольской машине. Хорошо зная свою роль, Гестер поднялась по деревянным ступеням и предстала перед окружающими, возвышаясь над улицей на несколько футов.

Окажись тут, в толпе пуритан, какой-нибудь католик, эта прекрасная женщина с младенцем на руках, женщина, чье лицо и наряд были так живописны, привела бы ему, вероятно, на память Мадонну,⁴⁴ в изображении которой соперничало друг с другом столько знаменитых художников. Он вспомнил бы – конечно, только по контрасту – священный образ непорочной Матери, чьему Сыну суждено было стать Спасителем мира. А здесь величайший грех так запятнал самую священную радость человеческой жизни, что мир стал еще суровее к красоте этой женщины, еще безжалостнее к рожденному ею ребенку.

Это зрелище человеческого греха и позора внушало невольный страх, да и не могло не внушать его в те времена, когда общество еще не было настолько развращено, чтобы смеяться там, где следовало трепетать. Свидетели бесчестия Гестер Прин были совсем бесхитростные люди. Будь она приговорена к смерти, они с таким же молчаливым одобрением взирали бы на ее казнь, не ропща на жестокость приговора; зато они не отличались и бессердечием, свойственным иному общественному укладу, при котором подобные сцены послужили бы лишь поводом для шуток. Если бы кому-нибудь и пришло в голову шутить, такая попытка была бы подавлена и пресечена торжественным присутствием столь немаловажных лиц, как губернатор, некоторые его советники, судья, генерал и местные священники. Все они сидели или стояли на балконе молитвенного дома и глядели вниз на помост. Когда такие особы, нисколько не опасаясь уронить свое достоинство или авторитет, принимают участие в подобных зрелищах, можно не сомневаться в том, что исполнение судебного приговора будет принято со всей серьезностью и произведет должное впечатление. Действительно, толпа вела себя угрюмо и сосредоточенно. Несчастливая преступница держалась как нельзя лучше для женщины, которая обречена выдерживать напор тысячи безжалостных глаз, устремленных на нее и в особенности на ее грудь. Вынести это было почти невозможно. Она приготовилась защищаться от язвительных выходок, уколов, публичных оскорблений и в ответ на любую обиду дать полную волю своей порывистой и страстной натуре, но это молчаливое общественное осуждение было настолько страшнее, что теперь Гестер Прин предпочла бы увидеть на хмурых лицах насмешливые гримасы по своему адресу. Если бы эти люди – каждый мужчина, каждая женщина, каждый визгливый ребенок – встретили ее взрывами хохота, она могла бы ответить им горькой и презрительной усмешкой.

⁴⁴ ...привела бы ему... на память Мадонну... – Образ Богородицы с Младенцем Христом на руках был очень распространен в живописи католических народов.

Но под свинцовым гнетом постигшей ее кары она временами чувствовала, что либо сойдет с ума, либо сию секунду закричит во всю силу своих легких и бросится с эшафота на землю.

Были и такие минуты, когда сцена, в которой она играла главную роль, пропадала из ее глаз или постепенно расплывалась, обращаясь в рой призрачных, бесформенных видений. Болезненно возбужденный ум и в особенности память рисовали перед нею иные картины, не имевшие ничего общего с этой улицей, с этим бревенчатым городком, граничившим с дремучими лесами Запада; и не эти, выглядывавшие из-под островерхих шляп, а совсем иные лица возникали перед ее взором. Далекие, совсем незначительные воспоминания, какие-то ничтожные черточки детства и школьных дней, игры, детские ссоры и мелочи домашней жизни в годы девичества роились вокруг нее, переплетаясь с важнейшими воспоминаниями последующих лет. Каждая картина возникала с такой же яркостью, как и предыдущая, словно все они были одинаково значительны или, напротив, в равной степени несущественны. Возможно, в этих фантазмагориях ее душа бессознательно искала спасения от жестокого гнета неумолимой действительности.

Так или иначе, помост послужил для Гестер Прин наблюдательным пунктом, откуда она вновь увидела родную деревню в Старой Англии и отчий дом, – убогий, полуразвалившийся дом из серого камня, на фронтоне которого все еще был виден полустертый щит с гербом, в знак того, что владелец принадлежит к старинному дворянскому роду. Она увидела облысевшую голову отца и его почтенную белую бороду, ниспадающую на старомодные елизаветинские брыжи, потом – лицо матери, ее исполненный заботливой, тревожной любви взгляд, который навсегда сохранился в памяти Гестер и много раз кротко предостерегал – даже после того как мать умерла – от ошибок на жизненном пути. Она увидела свое собственное лицо таким, каким оно некогда представало перед нею, когда она рассматривала его в мутном зеркале, освещенном изнутри сиянием ее девичьей красоты. И еще одно лицо она увидела – лицо немолодого уже мужчины, бледное, худое лицо ученого с глазами, тусклыми и покрасневшими от мерцания свечи, при которой он изучал бесчисленные фолианты. Однако эти тусклые глаза обладали удивительной проницательностью, когда их владельцу нужно было читать в человеческой душе. Женская наблюдательность Гестер Прин восстановила даже некоторую неправильность телосложения этого мыслителя и аскета, у которого левое плечо было чуть выше правого. Потом картинная галерея памяти развернула перед ней путаницу узких улиц, высокие серые дома, огромные соборы и общественные здания столь же древнего годами, сколь удивительного по архитектуре города на континенте, где ее, уже связанную со сгорбленным ученым, ожидала новая жизнь – новая, но питаемая изъеденной временем стариной, подобно пучку зеленого мха на развалинах каменной стены. И, наконец, вместо цепи сменяющихся картин – снова рыночная площадь бревенчатого пуританского поселка, запруженная горожанами, угрюмо наблюдающими, как она – да, она, Гестер Прин, – стоит с младенцем на руках у позорного столба, а на груди ее, окруженная причудливым золотым узором, алеет буква «А»!

Не сон ли это? Она так неистово прижала к себе ребенка, что он вскрикнул; потом опустила глаза на алую букву и даже потрогала ее пальцем, чтобы убедиться в реальности и ребенка и своего позора. Да! Вот она, действительность; все остальное бесследно исчезло!

Глава III

Встреча

Острое ощущение всеобщего недоброжелательного внимания перестало мучить носительницу алой буквы, как только она заметила в задних рядах толпы человека, который тотчас же непреодолимо овладел ее мыслями. Там стоял какой-то индеец в национальной одежде; однако появление краснокожего в английской колонии было не такой уж редкостью, чтобы привлечь в эту минуту взгляд Гестер Прин, а тем более – заставить ее забыть обо всем остальном. Но рядом с индейцем стоял белый, по-видимому его спутник, костюм которого являл собой странную смесь цивилизованной и первобытной одежды.

Он был невысок ростом и, несмотря на изборозженный морщинами лоб, не казался стариком. Одухотворенное лицо свидетельствовало об утонченном долгими занятиями уме, который сказался и на физическом облике, наложив на него свою печать. Хотя нарочитая небрежность смешанного костюма, по-видимому, служила ему, чтобы скрыть или смягчить некоторые особенности телосложения, Гестер Прин сразу заметила, что одно плечо у него выше другого. Едва лишь увидев это худое лицо к слегка искривленную фигуру, она снова судорожно прижала ребенка к груди с такой силой, что несчастный младенец опять запищал от боли. Но мать не обратила на это никакого внимания.

Сразу же после своего появления на площади и незадолго до того, как Гестер Прин заметила его, пришелец бегло взглянул на нее. То был рассеянный взгляд человека, склонного к самоуглублению и привыкшего придавать внешним событиям значение лишь в той мере, в какой они были связаны с его внутренней жизнью. Но очень скоро этот взгляд стал пристальным и пронизывающим. Судорога ужаса исказила лицо незнакомца и, задержавшись на миг, исчезла, словно змея скользнула, извиваясь, между разбросанных камней. Внезапное душевное волнение омрачило его черты, но усилием воли он подавил его с такой быстротой, что уже в следующую минуту они казались почти бесстрастными. Вскоре стерлись и последние следы волнения, скрытого теперь в глубине души пришельца. Встретившись с устремленными на него глазами Гестер Прин и увидев, что она как будто узнает его, он медленно, спокойно поднял палец и приложил его к губам жестом, призывающим к молчанию.

Потом, тронув за плечо стоявшего рядом горожанина, пришелец обратился к нему с церемонной учтивостью:

– Не скажете ли вы мне, сударь, кто эта женщина и почему она выставлена здесь на всеобщее посмеяние?

– Видать, приятель, вы чужой в наших краях, – ответил горожанин, удивленно разглядывая вопрошавшего и его краснокожего спутника, – иначе вы, конечно, знали бы о миссис Гестер Прин и о ее безбожных делах. Из-за нее было много шума в приходе преподобного мистера Димсдейла.

– Вы угадали, – подтвердил незнакомец, – я здесь впервые. Помимо воли, мне пришлось много скитаться. Меня постигли тяжкие бедствия на суше и на море, и я долгое время пробыл в рабстве у язычников к югу от здешних мест. Вот этот индеец привел меня сюда, чтобы получить выкуп. Поэтому не будете ли вы так любезны рассказать мне, кто эта Гестер Прин, – я, кажется, правильно расслышал ее имя? – и какие прегрешения привели ее к позорному столбу.

– Поистине, приятель, вы должны радоваться от всей души, что после таких испытаний и жизни среди дикарей попали, наконец, в страну, где порок преследуют и наказывают в присутствии властей и народа, – в нашу благочестивую Новую Англию. Так вот, сэр, эта жен-

щина была женой одного ученого, который родился в Англии, но долго жил в Амстердаме, а потом, несколько лет назад, задумал переплыть океан и попытать счастья у нас, в Массачусетсе. Он послал жену вперед, а сам задержался, чтобы закончить какие-то важные дела. И подумайте, сэр, прожив два года в Бостоне, она не получила ни единой весточки от этого ученого джентльмена, мистера Прина. Ну, и тогда молодая женщина, за которой некому было присмотреть...

– Так, так! Все понятно, – перебил его незнакомец, горько улыбаясь. – Если человек, о котором вы мне рассказали, действительно был так учен, он должен был все это заранее знать из своих книг. А не скажете ли вы мне, кто отец ребенка, которого миссис Прин держит на руках? Младенцу, насколько я могу судить, не больше трех-четырёх месяцев...

– По правде говоря, приятель, это осталось тайной, и не нашлось пока мудреца, который мог бы разгадать ее, – ответил горожанин. – Мадам Гестер наотрез отказалась говорить, и судьи напрасно ломали себе голову. Быть может, виновник стоит среди нас и любитесь этим печальным зрелищем, забыв о том, что Бог его видит.

– Не мешало бы ученому самому пожаловать сюда и заняться этой тайной, – еще раз улыбнувшись, заметил незнакомец.

– Конечно, это было бы лучше всего, если только он жив, – ответил горожанин. – Так вот, сударь, наши массачусетские судьи приняли во внимание, что такую молодую и красивую женщину, вероятно, сильно искушали, прежде чем она пала, и, в особенности, что муж ее, надо думать, давно лежит на дне моря, и не решились поступить с ней по всей строгости нашего справедливого закона. За такое преступление положена смерть. Но они, по своей снисходительности и милосердию, постановили, что миссис Прин должна простоять всего-навсего три часа на помосте у позорного столба, а затем, до конца жизни, носить на груди знак бесчестия.

– Мудрый приговор! – проронил незнакомец, задумчиво склонив голову. – Таким образом, она будет ходячей проповедью о пагубности греха до той поры, пока постыдный знак не отметит ее могилу. А все же меня возмущает, что соучастник греха не стоит рядом с нею на эшафоте! Но он будет найден! Будет! Будет!

Он вежливо поклонился общительному горожанину, потом прошептал несколько слов своему спутнику индейцу, и оба они начали прокладывать себе путь сквозь толпу.

Все это время Гестер Прин стояла на помосте, не спуская с незнакомца пристального взгляда – такого пристального и напряженного, что минутами весь остальной зримый мир исчезал из ее глаз и она не видела ничего, кроме этого человека и себя. Но свидание с ним наедине было бы, вероятно, еще страшнее, чем эта встреча, когда горячее полуденное солнце освещало и жгло ее пылавшие стыдом щеки, когда на груди ее алел постыдный знак, а на руках лежал рожденный в грехе младенец, когда толпа, собравшаяся, словно на праздник, рассматривала лицо, которое следовало бы видеть лишь в церкви, полускрытым добродетельной вуалью, да при спокойном мерцании очага, в счастливом полумраке родного дома. Как ни ужасно было все, что окружало ее, но присутствие тысячи свидетелей она ощущала как какую-то защиту. Лучше стоять здесь, где их разделяет столько людей, чем встретиться с ним с глазу на глаз – он, и она, и больше никого. Она видела в позорной церемонии некий якорь спасения и страшилась минуты, когда он исчезнет. Погруженная в свои мысли, она не сразу услышала позади себя голос, повторявший ее имя, голос, который звучал торжественно и так громко, что прокатился по всей площади.

– Внемли мне, Гестер Прин!

Как уже было сказано выше, прямо над помостом, на котором стояла Гестер Прин, был расположен балкон, вернее открытая галерея, украшавшая молитвенный дом. С этой галереи, в присутствии всех высших должностных лиц и со всей торжественностью, принятой тогда при публичных церемониях, оглашались постановления властей. Отсюда, восседая

в кресле под охраной почетного караула из четырех сержантов, вооруженных алебардами, смотрел на описываемую нами сцену сам губернатор Беллингхем⁴⁵ – пожилой джентльмен, чье лицо, изрезанное морщинами, говорило о нелегком жизненном пути. Шляпа губернатора была украшена темным пером, а из-под плаща, окаймленного узорным шитьем, виднелся черный бархатный камзол. Мистер Беллингхем был достойным представителем и главой общины, обязанной своим возникновением, развитием и нынешним процветанием не порывам юношей, а суровой, закаленной энергии зрелых мужей и хмурой мудрости старцев. Здесь достигли столь многого именно потому, что рассчитывали и надеялись на столь малое. Прочие важные особы, окружавшие губернатора, отличались полной достоинства осанкой, характерной для тех времен, когда различные формы власти считались священными и ниспосланными свыше. Разумеется, они были честными, справедливыми и умудренными опытом людьми. Однако во всем мире едва ли удалось бы отыскать столько же добродетельных и разумных людей, которые были бы менее способны разобраться в заблудшей женской душе и распутать переплетенные в ней нити добра и зла, чем эти непреклонные мудрецы, к которым обернулась теперь Гестер Прин. По-видимому, она понимала, что только в более вместительном и горячем сердце народа можно было еще искать сочувствия; должно быть поэтому, обратив взор на галерею, несчастная женщина побледнела и затрепетала.

Голос, который привлек ее внимание, принадлежал достопочтенному и прославленному Джону Уилсону,⁴⁶ старейшему священнику Бостона; подобно большинству его собратьев в те времена, он был ученым богословом, а сверх того еще и добрым, отзывчивым человеком. Последние свойства, впрочем, были менее развиты, чем интеллектуальные дарования, и он скорее стыдился их, нежели ценил. Он стоял на балконе, его седые волосы выбивались из-под круглой черной шапочки, а серые глаза, привыкшие к полумраку рабочей комнаты, щурились от ослепительного солнца совершенно так же, как глаза ребенка Гестер. Он напоминал потемневший гравированный портрет из старинного сборника проповедей и имел не больше права, чем подобный портрет, вмешиваться в вопросы человеческих грехов, страстей и страданий.

– Гестер Прин, – сказал священник, – я добивался от моего юного собрата, чьим проповедям ты имела счастье внимать, – тут мистер Уилсон положил руку на плечо бледному молодому человеку, стоявшему рядом с ним, – я пытался, повторяю, внушить этому благочестивому юноше, что ему следует обратиться к тебе здесь, перед лицом небес, перед нашими мудрыми и справедливыми правителями, на глазах у всего народа, и объяснить, насколько мерзостен и черен твой грех. Зная тебя лучше, чем знаю я, он может лучше судить о том, ласковые или суровые слова нужны для того, чтобы поколебать твою нераскаянность и упрямство и заставить открыть имя того, кто соблазнил тебя и вверг в эту страшную пропасть. Однако с чрезмерной мягкостью, присущей его юному возрасту, брат Димсдейл, – хотя он и умудрен не по летам, – возражал мне, что было бы насилием над самой природой женщины принуждать ее, в присутствии множества людей и среди белого дня, раскрыть сокровенные тайны сердца. На самом же деле, как я пытался ему доказать, позор заключается в совершении греха, а отнюдь не в его оглашении. Что ты ответишь мне на этот раз, брат Димсдейл? Кто из нас двоих, ты или я, обратится к бедной заблудшей душе?

⁴⁵ *Беллингхем*, Ричард (1592–1672) – политический деятель. Прибыл в Бостон в 1634 году, занимал пост губернатора Массачусетса в 1641, 1654 и 1665–1672 годах. Готорн подчеркивает, в соответствии с исторической правдой, аристократизм Беллингхема и его властный, независимый характер, который часто приводил его к конфликту с другими должностными лицами колонии.

⁴⁶ *Джон Уилсон* (1591–1667) – пуританский священник и писатель. Был одним из наиболее искусных проповедников и пользовался большим влиянием в магистратуре Бостона в середине XVII века. Прославился своей фанатической нетерпимостью по отношению к квакерам и другим сектантам, но в частной жизни был известен как человек большой доброты. Эту противоречивость его характера тонко раскрывает Готорн.

Среди сановных зрителей и священников, занимавших места на галерее, слышался ропот, смысл которого выразил губернатор Беллингхем, возвысив голос, хотя и повелительный, но смягченный уважением к молодому пастору.

– Почтенный мистер Димсдейл, – сказал он, – на вас лежит главная ответственность за душу этой женщины. Ваш прямой долг поэтому – склонить ее к признанию, каковое было бы следствием и доказательством искренности раскаяния.

После этого прямого обращения взоры толпы сосредоточились на преподобном Димсдейле, молодом священнике, который, окончив один из лучших английских университетов, привез в наш дикий лесной край последнее слово учености того времени. Его красноречие и религиозный пыл уже снискали ему выдающееся положение в ряду других представителей церкви. Сама внешность его была весьма примечательна: высокий выпуклый белый лоб, большие карие печальные глаза и то крепко сжатые, то слегка вздрагивающие губы, которые свидетельствовали о болезненной чувствительности, соединенной с большим самообладанием. Несмотря на природную одаренность и глубокие знания, у молодого пастора был такой настороженный вид, такой растерянный, немного испуганный взгляд, какой бывает у человека заблудившегося, утратившего направление в жизненных дебрях и способного обрести покой лишь в уединении своей комнаты. Он старался, поскольку это не противоречило его долгу, держаться в тени, был скромн и прост в обращении, а когда ему приходилось произносить проповеди, слова его дышали такой благоуханной свежестью и незапятнанной чистотой помыслов, что многим чудилось, будто они слышат ангела.

Таков был юноша, к которому преподобный Уилсон и губернатор привлекли всеобщее внимание, понуждая его здесь, перед собравшейся толпой, обратиться к таинственной женской душе, священной, даже когда она себя осквернила. Положение, в котором он очутился, было для него так мучительно, что кровь отхлынула от его щек, а губы задрожали.

– Обратись к грешнице, брат мой, – сказал мистер Уилсон. – Это важно не только для ее души, но, как сказал губернатор, и для твоей собственной, ибо ты был пастырем этой женщины. Пусть, побуждаемая тобою, она поведает правду!

Преподобный мистер Димсдейл склонил голову, словно творя про себя молитву, и выступил вперед.

– Гестер Прин, – сказал он, перегнувшись через перила и пристально глядя ей в глаза, – ты слышала слова этого мудрого человека и понимаешь, какая на мне лежит ответственность. Я заклинаю тебя открыть нам имя твоего сообщника по греху и страданию, если только это облегчит твою душу и поможет ей, претерпев земную кару, приблизиться к вечному спасению. Пусть ложная жалость и нежность не смыкают твои уста, ибо, поверь мне, Гестер, лучше ему сойти с почетного места и стать рядом с тобой на постыдном пьедестале, чем влачиться всю жизнь, скрывая глубоко в сердце свою вину. Что принесет ему твое молчание, кроме соблазна, и не побудит ли оно добавить к греху еще и лицемерие? Небо послало тебе открытое бесчестье, дабы ты могла восторжествовать над злом, угнездившимся в душе твоей, и над житейскими скорбями. Подумай, какой ущерб ты наносишь тому, у кого, быть может, не хватает смелости по собственной воле испытать горькую, но спасительную чашу, поднесенную ныне к твоим устам!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.